

Простые люди древней Италии

Мария Ефимовна Сергеенко



В распоряжении читателя имеется ряд книг, которые знакомят его с фактической историей древнего Рима, с его экономической и социальной жизнью, с крупными деятелями тех времен. Простые люди мелькают в этих книгах призрачными тенями. А между тем они, эти незаметные атланты, держали на себе все хозяйство страны и без них Римское государство не продержалось бы и одного дня. Настоящая книга и ставит себе задачей познакомить читателя с некоторыми категориями этих простых людей, выделив их из безликой массы рабов, солдат и ремеслен-

М.Е. Сергеенко использовала собранные ею в течение многих лет эпиграфические и археологические источники. Книга написана живым, выразительным языком. Она является по существу продолжением уже известной читателю монографии М.Е. Сергеенко "Жизнь древнего Рима", вышедшей в 1964 году.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории древнего Рима есть область, о которой мы знаем очень мало и которая стала привлекать к себе внимание только с недавнего времени. Об италийском сельском хозяйстве, о торговле и ремесле древней Италии написано много дельных работ, но что знаем мы о людях, трудившихся на земле или работавших в мастерских? Материалов, чтобы ответить на этот вопрос, немного: древние историки и писатели заняты были людьми с их точки зрения более важными, чем какой-то сукновал или пастух, и событиями более громкими, чем выпечка хлеба или перегоны скота. Если бы сохранились все декады Ливия, полностью дошли и Тацит, и Саллюстий, если бы вообще от всей римской литературы уцелели не одни клочки, то и тогда о простых людях тех времен узнали бы мы очень мало. А как раз эти люди и были создателями той богатой материальной культуры, которую оставил после себя Рим. На этих безвестных, часто презираемых работниках держалась вся жизнь страны. Агрономы современной Италии с гордостью говорят об агрокультуре, созданной древними италийцами.

Ее строгая обдуманность, умение приспособляться к природным особенностям и обращать эти особенности на пользу себе, разнообразие растительных сортов и животных пород, выведенных в античной Италии, могут, действительно, вызвать чувство гордости. Тут рядом со свободным итальянским крестьянином работали рабы или отпущенники, люди самых разных народностей: греки, сирийцы, галлы. Кто они были? Кое-что о них можно вычитать у авторов, писавших о сельском хозяйстве: у Варрона и Колумеллы. Из рук итальянских ремесленников выходили превосходные вещи, такие, что их часто можно причислить к произведениям подлинного искусства. Об этих людях, об их мастерстве, об условиях их работы, кое-что об их быте рассказали остатки помпейских мельниц и прачечных, которые были в то же время и сукновальнями, развалины остийских инсул, кое-какие фрески, многочисленные надписи. Настоящая работа и ставит своей задачей ближе показать этот трудящийся люд, простых людей древней Италии, тот ее костяк, который держал на себе всю страну.

Глава первая. ПАСТУХ



Среди рабов, занятых в сельском хозяйстве у италийского рабовладельца, пастухи занимают совершенно особое место. Они должны были резко выделяться из всей рабской семьи — и по внешнему виду, и по внутреннему складу. Остальные рабы были прикованы к тому месту,

куда их забросила хозяйская воля — по расчету или просто из каприза: для пахаря, садовника или виноградаря мир был заслонен усадьбой, где они жили, и участком земли, на котором они работали. За его границами начиналась запретная зона — мир, почти такой же далекий и недоступный, как сказочное тридесятое царство. Сазерна, который не только был превосходным хозяином-практиком, но и много думал о наиболее рациональном использовании рабской силы, советовал хозяину никому не разрешать отлучаться из имения, кроме вилика, ключника и одного раба, по выбору вилика. Прикрепленные к одному и тому же месту, изо дня в день общаясь с одними и теми же людьми, с раннего утра и до позднего вечера занятые работой, втиснутые в рамки жизненного уклада, в котором один день был как капля воды похож на другой, "говорящие орудия" итальянских усадеб с роковой неизбежностью тупели, грубели и опускались. Жизнь их складывалась из подневольной работы — часто ее не столько делали, сколько от нее отделялись, — из еды и сна. Если удавалось когда-нибудь вырваться, раб

погружался в грубые удовольствия вроде тех, о которых говорил Горацию его раб Дав и которые составляли в жизни всю его радость. Человеку негде было развернуться, да и стоило ли разворачиваться? Надо было обладать огромным запасом, энергии и внутренней силы, чтобы среди этого беспросветного существования ни минуты не забывать о возможности освобождения и верить в него; выбиваться из сил на чужой работе — и работать для достижения своей цели, ежеминутно быть игрушкой чужой воли — и надеяться на утверждение собственной. Большинство довольно скоро погружалось в равнодушную безнадежность; трудно только было ожидать от этих людей, чтобы они хорошо работали и доброжелательно относились к своим господам, чья воля отняла от них все, чем красна жизнь. Итальянские хозяева и не обольщались на этот счет: нас достаточно убеждают в этом жалобы на рабскую работу и дисциплина, созданная для рабов, которая сводилась в конечном счете к мерам предосторожности против раба: недаром же существовала поговорка "сколько рабов, столько врагов".

Среди этого отверженного мира пасынков судьбы резко выделялась одна группа, самой жизнью поставленная в совершенно иные условия существования: это были пастухи (я имею в виду только пастухов, которые сопровождали кочевые стада, а не пасли скот при доме, какую обязанность возлагали обычно на подростков: мальчиков и девочек).

Итальянское скотоводство крупного масштаба было скотоводством пастбищным, кочевым. Эту систему скотоводства подсказывала сама природа страны, позволявшая скоту находиться под открытым небом круглый год, но только в разных местах. Равнинные пастбища южной Италии, где летом трава совершенно выгорала от солнца, давали зимой превосходный корм; нагорных пастбищах Апеннин скот находил летом приют от душливого зноя. Огромные отары овец ежегодно совершали регулярное путешествие из Калабрии в Бруттий и из Апулии в Самний и Сабинский округ. Крупный рогатый скот зимовал обычно неподалеку от моря; летом его угоняли в горы, в места, заросшие лесом. Мулы из Розей-

ской равнины проводили лето тоже в горах. Летние и зимние пастбища часто отстояли друг от друга на расстоянии, исчисляемом несколькими сотнями миль: Варрон, с присущей ему свежестью воображения, сравнивал их с корзинками, висящими по концам длинного коромысла — дороги, которая их соединяла.

Перейти с зимнего пастбища на летнее — значило совершить медленное путешествие через добрую половину страны. Оно было богато встречами, впечатлениями — и опасностями тоже: вместо надоевшего имения, лежавшего по воле хозяина в кольце вечной блокады, перед пастухом расстилалась Италия в богатом многообразии своего рельефа, климата и природы. Чужой край, куда его забросила злая судьба, для пастуха не отождествлялся, как для других членов "сельской семьи", с имением, куда его купили: он знакомился с значительной частью Италии, знакомился медленно, в подробностях, как можно ознакомиться только при путешествиях пешком, и если это был человек, одаренный живым и любознательным умом, то у него складывался

богатый запас сведений, впечатлений и наблюдений, расширявших его умственный горизонт и обогащавших его опытом, разносторонним и разнообразным. Ему приходилось вступать в сношения с самыми различными людьми: тут были и свои братья пастухи, гнавшие стада других хозяев, крестьяне деревень и хуторов, мимо которых пролежала дорога, рабы из соседних имений, откупщики государственных пастбищ и их служащие, путешественники и прохожие, встречавшиеся на пути. Иногда это бывала шайка разбойников, от которой приходилось отбиваться с оружием в руках. Когда пастухи приходили на место, в глуши затерянного далеко пастбища начиналась для них обычная однообразная жизнь. Как, однако, не походило это однообразие на однообразие жизни в усадьбе: пастух был самостоятелен, был целиком предоставлен своим силам, своей сметке, догадливости, своим знаниям — и сплошь и рядом своему мужеству. Изо дня в день стоял он лицом к лицу с природой, то ласковой, то гневной, и каждый день задавала она ему новые и новые задачи, решать которые ему приходи-

лось, рассчитывая только на себя, на свои силы и умение. Человек, не побоявшийся вырвать овцу из страшной волчьей пасти, обуздавший взбесившегося жеребца, сумевший найти травы и лекарства, спасшие от болезни целое стадо, — такой человек естественно начинал чувствовать себе цену. Он внутренне распрямлялся; и это сознание своего достоинства, своей силы и значимости определяло его поведение. Как могло оно ужиться с рабским званием и рабской судьбой? Перед пастухом лежало два пути: об одном непосредственно сообщают наши источники, другой путь они довольно отчетливо позволяют увидеть. Первый был путем открытого возмущения: пастух ломал надетое на него ярмо и превращался в неистового мстителя, жестоко расправлявшегося со своими обидчиками — обществом и государством.

Пастухи были деятельными участниками самых страшных рабских восстаний, иногда — их организаторами и зачинщиками. В первом сицилийском восстании ведущая роль принадлежала пастухам: один из вождей его, Клеон Киликиец,

сам был пастухом-табунщиком. К Спартаку сразу же присоединилось много пастухов. В начале II в. до н. э. пастухи были грозой всей Апулии: претору пришлось выступить против них с регулярным войском. Когда в правление Тиберия какой-то отставной солдат-преторианец затеял поднять восстание, он обратился с призывом прежде всего к калабрийским пастухам. Пастушья среда были спящим вулканом, который каждую минуту мог проснуться. Пастухов делало особенно страшными еще то, что в физическом отношении все они были как на подбор молодец к молодцу: слабый человек не годился для их суровой жизни, требовавшей длительных переходов, лазанья по горам, ношенья тяжестей, быстрого бега. Постоянная жизнь на вольном воздухе, периоды длительного отдыха, пища более здоровая и питательная, чем та, которую получали рабы, жившие в усадьбе, — все это еще укрепляло их, делало сильнее и здоровее. Огромная разница в физическом складе должна была существовать между этими крепышами и работниками из имений, надорванными и искалеченными постоянной, одно-

образной работой. Все они были вооружены: без оружия как было защитить стадо от дикого зверя или лихого человека? Пастухов сопровождали собаки — огромные, сильные животные, страшные для всякого, на кого бы ни натравил их хозяин. И эти грозные люди представляли собой крепко сплоченное общество; испытанное правило рабовладельческого хозяйства — всеми силами поддерживать рознь в рабской среде — здесь было неосуществимо: затерянные в горной и лесной глуши, пастухи, приставленные к одному стаду, должны были жить в добром согласии и полной готовности ежеминутно устремиться на помощь друг к другу. Этого требовали и хозяйские интересы. И так как кругом паслись и другие стада, так как все пастухи вели одинаковую жизнь, с одинаковыми печальями и радостями, одинаковыми трудами и опасностями, и так как некому было сознательно стравливать их между собой, то единение между ними естественно выходило за пределы одной рабской семьи, захватывая и подчиняя себе всех пастухов данной местности. При огромных масштабах итальянского скотовод-

ства число пастухов оказывалось очень большим: в упомянутом выше апулийском восстании приняли участие десятки тысяч человек. Ливий, не любивший преувеличенных цифр, сообщает, что претором было осуждено до семи тысяч человек и что многим удалось бежать. Если предположить, что осуждена была на казнь половина восставших, то и тогда число восставших окажется очень значительным — и это в одном только округе Италии. Сила была внушительной. И если рабы вообще задавали трудные задачи своим хозяевам, то задача, предложенная пастухами, принадлежала к числу самых сложных. До известной степени она была разрешена: крупное пастбищное скотоводство в Италии не прекращалось ни при республике, ни при империи.

Италийский рабовладелец давно ломал себе голову над тем, как повысить продуктивность рабской работы и обеспечить себе расположение раба. Режим, который Катон (II в. до н. э.) старательно поддерживал у себя в хозяйстве и который в основном сводился к тому, чтобы держать раба сытым, не оставлять его ни минуты

без дела и давать ему как следует высыпаться, не дал хороших результатов. Меньше чем через сто лет рабовладельцу пришлось признать, что раб представляет собой нечто большее, чем рабочая скотина, которую, чтобы она хорошо работала, надо только держать в тепле и в сытости. Оказалось, что раба надо заинтересовать в работе и надо установить между ним и собой некоторые человеческие отношения. В I в. н. э. Колумелла заговорит о том, что надо прикрыть пропасть, существующую между рабом и хозяином: он посоветует дружески разговаривать с рабом и даже шутить — думается, сознательно поправляя Аристотеля. Если все эти меры оказались нужными по отношению к рабу, который жил в усадьбе в тисках вечного надзора и был только работником, копавшимся в земле, то как же надо было вести себя с пастухом, который уходил очень часто за сотни миль от дома, представлял собой фигуру гораздо более грозную, чем усадебный раб, и которому приходилось вверять целое состояние — при этом почти бесконтрольно?

Во-первых, право иметь семью и собствен-

ность, которое в имени давалось наиболее усердным и старательным рабам, в качестве награды и поощрения, безусловно признавалось за всеми пастухами. Хозяин верно рассчитал, что семья свяжет пастуха и прикрепит его к месту. Женщины сопровождали своих мужей в их странствованиях, налаживали, по приходе на место, несложное хозяйство, помогали в уходе за стадом и готовили пищу. Жизнь оказывалась для пастуха неожиданно щедрой: он мог быть уверен, что ни его подругу, ни его детей от него не отберут по первой прихоти. Больше, чем кто-либо в рабской среде, мог ощущать пастух прелесть домашнего очага: "наскоро сложенная хижина" была для него по-настоящему своим домом. Раб, живший в сельской усадьбе, обычно получал в качестве собственности некоторое количество мелкого скота. Получал его и пастух, и это сулило — с полной реальностью — свободу в недалеком будущем. Несколько штук овец, которыми он располагал, давали верный доход; пастух продавал с них шерсть, а при слабом контроле мог всегда еще кое-что добавить из шерсти хо-

зьяйских овец и увеличить свой доход за счет хозяина. Если хозяин желал получить с него очень высокий выкуп, то и в таком случае за несколько лет пастух мог набрать требуемую сумму, и надежда на свободу гарантировала хозяину старательную службу со стороны пастуха.

Кроме этих общих мер, принимаемых хозяином по отношению ко всем рабам, были еще специфические, придуманные только для пастухов. Мало было создать условия, привязывающие человека к его месту: надобно было еще подобрать людей, которые удовлетворенно приняли бы эти условия, а не продолжали бы, невзирая на кормежку, "смотреть в лес". Нужен был определенный склад характера, и недаром из всей рабской семьи только пастуха охарактеризовал Колумелла со стороны его душевных качеств — причем среди этих качеств "большая мягкость" стоит на первом месте. Варрон обронил драгоценнейшее замечание, что "не всякая народность дает людей, подходящих к пастушеским занятиям: бастулы и турдулы, например, в пастухи не годятся, а галлы очень хороши, особенно если дело касает-

ся лошадей и мулов". Турдулы выделялись среди испанских племен своей культурностью: Страбон писал о них, что "из иберов они самые образованные"; он же отмечал их мягкость и уживчивость; к концу I в. н. э. "им мало не хватает, чтобы стать совсем римлянами". Земледельцы и садоводы, обладатели больших овечьих стад, пасшихся на полях и равнинах, они, конечно, не подходили для той суровой кочевой жизни, которая ожидала италийского пастуха. Бастулы — полудикое горное племя — страшны были самой своей дикостью, а, кроме того, как пастухи имели они дело преимущественно с козами. Галлы были превосходными конниками, страстно любили лошадей и разводили их большими табунами. Военные лошади их славились. Галл-пастух был драгоценным приобретением для римского скотовода, а сами условия италийского скотоводства позволяли свободолюбивому и гордому кельту не ощущать всей тяжести рабского ярма. Тут на помощь хозяину приходило то самое обстоятельство, которое, с другой стороны, доставляло ему столько беспокойства: это отдаленность пасту-

ха от усадьбы и отсутствие хозяйского контроля. Пастух забывал о своем рабском положении, о котором ему почти ничто и не напоминало.

Попробуем представить себе ту жизнь, которую он ведет: после долгого и утомительного путешествия со всякими дорожными приключениями он пригонял скот на отведенное для него место. Разбивали лагерь: устраивали загон для животных и несколько шалашей или избушек, в которых можно было укрыться от непогоды и куда убирали привезенные с собой запасы еды, несложную утварь и обязательно сопровождавшую всякое стадо походную аптеку с медикаментами для людей и животных. О том, чтобы регламентировать жизнь пастуха так, как регламентировалась жизнь рабов в имении, не могло быть и речи: единственное, что предписывал им хозяин (и неизвестно еще, как это предписание выполнялось) — это пасти стадо вместе, вечером собираться на общий обед и ночевать каждому при своем стаде. Стадо — особенно, если это были овцы или коровы, — не занимало у пастуха целиком всего времени, он мог заполнять свой

досуг по желанию и склонностям: песней, наблюдением и размышлениями, какой-нибудь ручной работой. Об этой внутренней жизни пастуха, развертывавшейся на просторе и без стеснения, мы знаем так мало: только жалкие обрывки и намеки дошли здесь до нас. Пастухи умели играть на простых духовых инструментах: об этом сообщают нам такие точные авторы, как Варрон и Полибий. Старый Малх, с которым в отрочестве был знаком бл. Иероним, рассказывал ему, как в бытность свою пастухом стерег он овец, распевая псалмы, вспоминая о прошлом, раздумывая над окружающим и своей судьбой. Нарисованная им картинка муравьиной жизни — если она действительно дана им, а не подправлена самим бл. Иеронимом — великолепна по выразительной силе подобранных деталей и композиционному единству. Вергилий вложил в уста своих пастухов переводы и переделки из Феокрита; настоящие пастухи, конечно, пели, и, может быть, тщательное сравнение Феокрита и Вергилия вместе с изучением пастушеской песни последующих времен в Италии даст возможность установить

круг тем и технику этой древней пастушьей песни.

Среди пастухов была своя иерархия. Стадо обычно разбивалось на несколько частей (овечье — по 100 штук в каждой, так же как и коровье, лошадиный табун — по 50 лошадей), и к каждой части приставлялся один (для лошадей — два) пастух. Все они были подчинены старшему пастуху, который назывался *magister pecoris*. Эта фигура заслуживает того, чтобы на ней остановиться внимательнее.

Прежде всего это были не только грамотные, а в своей области просто образованные люди: животноводы-специалисты, сказали бы мы, говоря современным языком. На них лежала организация всей жизни стада, они должны были позаботиться о том, чтобы снабдить людей и животных всем, что им нужно на время путешествия и по приходе на место; они следили за всей жизнью стада, за воспитанием молодняка, вели учет доходам со стада. Под их руководством состояли пастухи и подпаски, на практике обучавшиеся у них животноводству. Они же смотрели за со-

стоянием здоровья животных и лечили их: старый скотолечебник, представлявший собой выборку из Магона, сопровождал их во всех путешествиях. Колумелла определял их деятельность как требующую неусыпного внимания, заботы и знаний.

Ни одного имени этих старших пастухов не дошло до нас, не говоря уже об их биографиях. Мы никогда не узнаем, сколько сделали эти люди для животноводства древней Италии и, следовательно, для животноводства всей Европы. Между тем можно считать несомненным, что как выведением ряда превосходных фруктовых сортов, так и выведением превосходных пород различных животных — апулийские и галльские овцы, реатинские мулы, апулийские лошади, белые «пекарские» свиньи — итальянское хозяйство было обязано рабам-специалистам, обладавшим в животноводстве полнотой тех специальных знаний, которых, разумеется, не было у хозяина. Если старший пастух был одаренный и любящий свое дело человек, то здесь, на равнинах Апулии или в горной глуши Самния, вдали от надоедли-

вой хозяйской слежки, он мог развернуться во всю: стадо, порученное его надзору, становилось точкой приложения его творческой работы. Деятельности этих людей обязана была италийская ветеринария обилием и эффективностью своих лекарств, из которых некоторые дошли до нашего времени, а также отчетливой и внимательной диагностикой; сводом правил, обеспечивающих наилучшие условия для разведения стада, подбором кормов. Книги Варрона и Колумеллы, посвященные животноводству, представляют собой в значительной степени сводку векового пастушеского опыта.

Глава вторая. ВИЛИК

В рабовладельческой усадьбе древней Италии главным лицом, по существу, был вилик. Хозяин, как правило, не жил в своем имении, а только наезжал туда, и чем реже бывали его посещения, чем меньше он сам понимал в хозяйстве (случай, если верить Колумелле, для его современников обычный), тем большее значение приобретал вилик, заместитель хозяина и его правая рука. Даже и в те времена, когда сельское хозяйство считалось делом важнейшим и когда владелец имения был, как правило, сведущим и опытным хозяином, вилик оставался тем организующим и приводящим в действие всю хозяйственную машину началом, при отсутствии которого все оставалось и разваливалось. Регул обосновывал перед сенатом свою просьбу о разрешении ему вернуться из Африки (главнокомандующему во время военных действий!) тем, что его вилик сбежал. Понятно, что такой человек, как Катон, понимавший толк в хозяйстве и его организации, с особым вниманием остановился на фигуре вилика и из всех работников сельского хозяйства только ему посвятил обстоятельную и обдуман-

ную характеристику.

Кто-то сказал, что девизы на старых фамильных гербах сплошь и рядом выражают мечту выбравшего их о тех качествах, которые ему наиболее желательны и которые как раз у него отсутствуют. Вилик в изображении Катона — это создание хозяйской мечты, некое идеальное существо, которое хозяин хотел бы иметь у себя управляющим. Будет ли ошибкой думать, что в этом образе каждый штрих, который накладывает рука опытного и проницательного человека, подсказан вздохом безнадежного сожаления о том, что в действительности не существует и не может существовать того идеального вилика, который рисуется умственному взору размечтавшегося хозяина? Не случайно почти вся характеристика вилика у Катона выдержана в отрицательных предписаниях: вилик не должен быть тем-то, не должен делать того-то. Очевидно, настоящий, не вымышленный вилик и вел себя так и проявлял такие качества, которые делали его весьма далеким от его идеального облика. Попробуем же представить себе, каким обычно был

и как вел себя подлинный, реально существовавший вилик. Наши главные источники — хозяева и писатели, занимавшиеся вопросами сельского хозяйства: Катон (II в. до н. э.), Варрон (I в. до н. э.) и Колумелла (I в. н. э.) — позволяют нам довольно явственно разглядеть три облика вилика: вилик-тиран, вилик-гуляка и вилик-стяжатель. Остановимся несколько подробнее на каждом из этих типов.

Можно довольно ясно представить себе, каким образом выработывался тип вилика-тирана: предпосылки для его создания были заложены и в предыдущей его жизни, и в основных особенностях его природы. "Вчерашний раб", существо без голоса и без прав, игрушка хозяйских прихотей, унижавших и озлоблявших, он вдруг получал почти хозяйские права над рядом таких же безгласных и бесправных существ, каким только что был сам. Немудрено, если он хмелел от сознания своей власти и начинал щедро угощать вверенную ему рабскую семью тем горьким вином рабского существования, которого сам он в свое время хлебнул немало. В его обязанности

входило поддерживать "добрый порядок" среди своих подчиненных, и хозяин облакал его правом "как следует наказать провинившегося". Виликтиран пользовался этим правом во весь размах своей жестокой и ожесточенной души. Катон ничуть не задумывался над тем, какими мерами этот "добрый порядок" будет поддержан, но уже Варрон предупреждал хозяев, что "нельзя позволить распоряжаться преимущественно путем побоев, а не слов". Колумелла писал в то время, когда хозяин-рабовладелец ясно увидел, что благоденствие и преуспеяние его хозяйства в значительной степени зависят от того, заинтересованы ли в этом люди, работающие на его земле, и расположены ли они и к нему, и к его заместителю. В длинной, подробно разработанной характеристике вилика он изображает его как человека, исполненного самой теплой заботы о рабах, который "по примеру самого хорошего пастуха" печется о здоровье и хорошем укладе жизни своих подопечных. "Вилик не должен быть жесток" — это по существу лейтмотив данной характеристики. Мало даже не быть жестоким: "пусть вилик бу-

дет снисходителен и к плохим рабам", он вообще должен вести себя так, чтобы его "побаивались за строгость, а не ненавидели за жестокость".

Эти неоднократные увещания дают право думать, что «вилик-тиран» был явлением весьма частым. "Нет злее битой собаки", гласит старая латышская поговорка, и хозяевам приходилось обуздывать своих ставленников, дорвавшихся до возможности выместить на своих товарищах по рабству те унижения и побои, которые им самим довелось когда-то пережить.

Надо признать, что подобное упоение властью обходилось самому вилику довольно дорого. Дело было не только в том, что рабы, выведенные из терпения этим разгулом жестокости, конечно, давали порой сдачи зазнавшемуся начальству. Вилик-тиран своей жестокостью лишал себя ряда возможностей, которыми широко пользовались его собратья: гуляка и стяжатель. Обиженные рабы держали своего мучителя в крепких тенетах незаметного и поэтому наиболее страшного соглядатайства. От этих многочисленных, обостренных ненавистью глаз, от этих всегда на-

стороженных ушей нельзя было скрыть ни веселой попойки с приятелями, ни удачно обделанного в свою пользу дельца с подрядчиком или покупателем. И если хозяин был человеком осторожным, разумным и не полагался слепо на своего вилика, то умелый донос, подкрепленный словами ряда свидетелей, мог оказаться для вилика роковым. Живя в атмосфере ненависти, которая от его поведения разгоралась, как пламя на ветру, он должен был следить за каждым своим шагом и не позволять себе ничего, что шло бы в разрез с предписаниями и волей господина. Силой вещей жестокий вилик превращался в наиболее исполнительного и верного слугу своего хозяина. И если тем не менее разумные хозяева настойчиво запрещают вилику жестокосердствовать, то это непреложно свидетельствует о больших сдвигах в сознании рабовладельца, который вынужден признать, что система хозяйства, построенная на взаимной ненависти и взаимном шпионаже, добрых плодов не приносит. Колумелла заметил, что от самого опытного и сведущего вилика не будет никакой пользы, если у него нет распо-

ложения и благожелательности к хозяину, и что свирепость вилика губит хозяйство. Любопытно, что эти соображения в столь определенной форме высказаны им в одной из позднейших книг.

Другим типом вилика, совершенно противоположным только что рассмотренному, был вилик «мягкий», который "распоряжался без достаточной строгости" и попустительствовал рабам. Этот человек тоже упивался своей властью, но упоение это было совершенно иным. Потому ли, что его прежняя жизнь не успела ожесточить его, потому ли, что его натуре, добродушной и незлобивой, не нужно было крови и стонов, но только, очутившись заместителем хозяина, он отнюдь не обнаруживал ревностного желания наводить порядки и внушать трепет своим подчиненным, а живо учел те восхитительные возможности, которые новое положение ему открывало, и поспешил ими воспользоваться. Вчера еще у него не было минуты, которая бы ему принадлежала, сегодня он оказывался полным хозяином своих дней и ночей; вчера он был попыха-чем и слугой, сегодня он мог требовать услуг

себе; вчера несколько сестерций составляли все его имущество, сегодня в его распоряжении оказывалось целое имение со всеми его статьями: вино, хлеб, скотный двор, сад, птичник — он мог распоряжаться всем, а что в этих распоряжениях придется отдавать отчет, об этом можно было на сегодня и забыть. Философия одного из гостей Тримальхиона "что съел и выпил, то только и твое" была ему кровно близка и понятна, как вообще всем людям невысокого нравственного полета, которым не часто доводилось в жизни видеть жирный и сладкий кусок. Хождение по гостям ("виллик не должен шататься без дела", "пусть он никуда не ходит на обед"), добрая выпивка с друзьями и в одиночку ("должен быть всегда трезв"), увлекательная травля зверя, в которой принимали участие и многие рабы из имения ("нельзя, чтобы у вилика была страсть к охоте или к ловле птиц; он отвлечет много рук от работы на эти занятия"), хороший обед дома, приправленный лестью и шутками Парасита ("Парасита пусть не держит"), сладкий и длительный сон ("пусть первым встает и последним

ложится") — вот из чего складывалась в основном жизнь этого "гуляки праздного", которого в его эпикуреизме поддерживало еще сознание относительной безнаказанности. Что было делать, если куры не неслись, а прекрасных гусей, совсем уже откормленных для господского стола, задра-ла лисица? Если годовалый поросенок внезапно издох от какой-то непонятной болезни? В человеческой ли власти было совладать со страшной бурей, которая сбила половину фруктов в саду и значительно уменьшила урожай в маслиннике? Изобретательному уму раба, понаторевшему во всякого рода увертках и обходах, нетрудно было подобрать объяснения, против которых возражать было нечего. Что вилик любил услаждать себя дарами Цереры и Вакха, об этом можно заключить из слов Колумеллы, идеальный вилик которого обедает вместе с рабами, ест то же, что они, служит им примером воздержанности и только по праздничным дням позволяет себе возлечь за столом: в остальные дни он так же, как и все рабы, обедает сидя.

Занятый организацией наиболее приятного

для себя образа жизни, наш «гуляка» не налегал на подвластных ему людей, "распоряжался без строгости" и мирволил рабам. Те, конечно, и на работе не убивались, и охулки на руку не клали — и хозяйство неуклонно падало и разваливалось. Марциал говорит о вилике, растратившем хозяйское добро, как о явлении обычном. Упадок хозяйства был, однако, бедой не для одного хозяина: беда грозила и вилику, когда хозяин, явившись наконец в имение, требовал его к отчету.

У Катона есть восхитительная сценка, разыгрываемая между строгим допросчиком хозяином и виликом стиля гуляки. В ответ на требование хозяина объяснить, почему не выполнены такие-то и такие-то работы, он уверяет в своей ревности к хозяйству и приводит ряд причин, в силу которых он при всем своем желании не мог управиться с рядом дел: стояла плохая погода, рабы болели, кое-кто сбежал, от своих работ люди были отвлечены общественными повинностями и т. д. и т. д. "Когда он приведет эти причины, — пишет Катон, — и еще множество других,

верни его к расчету уроков и дней". Этот диалог, свидетельствующий о том, сколько юмора было у сурового старика, был бы очень эффектен на сцене, и зрители могли вдоволь потешиться над завравшимся и запутавшимся в своей лжи плутом. В действительности дело сплошь и рядом оборачивалось по-иному. Только человек стиля ювеналовой матроны ("как хочу, так и велю") или совершенный невежда в сельском хозяйстве мог отрицать вескость хотя бы некоторых причин, приведенных виликом. В дождливую погоду можно было, конечно, "наводить чистоту в усадьбе", но нельзя было работать ни в поле, ни в саду; тщетно было бы требовать работы от больного человека. Конечно, слишком частые и неурочные ливни и постоянные болезни рабов должны были, наконец, показаться подозрительными, и выведенный из себя хозяин прогонял вилика с его теплого места, но легкомысленный гуляка утешался, видимо, сознанием кратковечности всего сущего — "хоть час, да мой!".

Третьим типом вилика был вилик-стяжатель. Для этого человека веселой гулянки с приятеля-

ми, сытной еды и доброй выпивки было слишком мало, он хотел от жизни большего. Вилик-стяжатель принадлежал к рабам того закала, который давал таких людей, как помпейский банкир Цецилий Секунд или римский хлебник Эврисак. Они стояли наверху той лестницы, на нижнюю ступеньку которой ставил ногу наш раб, становясь виликом: трудно, действительно, найти среди рабских должностей такую, которая давала бы ловкому, предприимчивому и пронырливому человеку больше возможностей обогатиться. Катон говорит: "Пусть вилик ничего не покупает без ведома хозяина". "Вилик не должен вкладывать хозяйские деньги в скот или другие покупки, — вторит старому цензору два века спустя Колумелла, — такие занятия отвлекают вилика и делают его скорее торговцем, чем земледельцем". Торговые сделки вилика были, по-видимому, делом обычным и по естественности своей неистребимым. Они представляли для вилика-стяжателя соблазн величайший. В руках вилика всегда находились и неизбежно должны были находиться хозяйские деньги. Хозяин да-

леко не всегда мог сам производить такие крупные хозяйственные операции, как например сдачу подряда на сбор маслин или на какие-нибудь постройки. Деньги с аукциона, на котором происходила распродажа ненужных в хозяйстве предметов, попадали нередко прямо в руки виллика. Ему надлежало, по мысли хозяина, немедленно положить их в хозяйский сундук, дабы в любую минуту хозяин мог распорядиться ими по своему желанию. До этой минуты, однако, почему бы им не принести дохода виллику? Он мог пустить их в оборот не хуже хозяина. Путей для этого было, вероятно, несколько: Колумелла говорит о покупке скота и других предметов, но их не перечисляет; самым обычным, видимо, и наиболее безопасным способом использовать хозяйские деньги было барышничанье скотом. Приобрести две-три головы для хорошего хозяйства никогда не лишнее, и "когда дело доходит до отчета, — пишет Колумелла, рисовавший, видимо, с натуры, — хозяину вместо денег показывают то, что куплено". Показывать приходилось, разумеется, только в крайнем случае, когда не бы-

ло никакой возможности объяснить, куда делись деньги. Если хозяин не появлялся вдруг и неожиданно, то все шло по-иному (недаром же Катон требовал от вилика, чтобы он ничего не утаивал от хозяина) — вилик покупал, перепродавал, клал к себе в кошель разницу и водворял на место хозяйский капитал еще до приезда хозяина, который выслушивал отчет, получал свои деньги, до асса сходявшиеся со всеми записями, и не подозревал, сколько нажил на этих деньгах его управляющий. Торговые обороты вилика и стоявшая в связи, между прочим, с этими оборотами подделка счетов заставили Корнелия Цельза предпочитать в качестве вилика человека неграмотного.

Кроме торговли и барышничества, был у вилика еще один источник дохода: он мог давать в долг. Вряд ли одалживал он деньги, это было слишком рискованно, и наши источники вовсе не упоминают подобных операций, но давать такие вещи в долг, как зерно, масло, вино, разрешал сам Катон, требовавший, однако, чтобы вилик знался только с двумя-тремя хуторами, "где он

может попросить, что надобно, и кому сам может давать в долг". Это стремление ограничить круг знакомств виллика и его сношений с внешним миром имело основанием своим, как вообще все советы Катона, большой житейский опыт. Хозяин не только обуздывал склонность виллика к длительным прогулкам, но и получал возможность сразу же проверить, верны ли показания его управляющего относительно отданных в долг семян или вина. Раздвинуть, однако, границы, очерченные господином, было не так уже трудно даже при таком строгом хозяине, как Катон: как было отказать и четвертому, и пятому хутору, владельцы которых были людьми влиятельными и нужными: практичный хозяин сам ведь прекрасно понимал всю выгоду доброго расположения к себе всей округи и сам рекомендовал поступать так, "чтобы соседям приятно было тебя видеть". Для виллика же эта узаконенная раздача в долг могла иногда стать весьма доходной статьей. Представим себе такой случай, вероятно далеко не редкий, когда в усадьбе, соседней с той, где хозяйничает наш виллик-

стяжатель, количество масла или вина в погребе катастрофически не соответствует и записям, и хозяйским расчетам. Бедняге-вилику, чтобы извернуться и оправдаться перед неожиданно нагрянувшим хозяином, только и оставалось, что кинуться с просьбой «одолжи» на наш хутор. Стяжатель не отказывал в услуге, но за услугу обычно платили: обе договаривающиеся стороны это прекрасно знали, и нашему вилику некая толика перепадала. Он не пренебрегал самыми мелкими доходами.

"Пусть вилик не обкрадывает ниву" (т. е. не кладет при посеве семян меньше, чем требуется), предписывает Катон. На югер брали обычно пять модиев пшеницы; вилик отпускал четыре и выгадывал таким образом для себя каких-то три сестерции. Если, однако, в хозяйстве засевали 25–30 югеров хлеба, то сбережения виллика по одной этой статье начинали приближаться к сотне. А разве нельзя было сговориться с подрядчиком, заключившим договор на съемку маслин в хозяйском маслиннике или на выделку оливкового масла? Катон понимал, что делает,

когда приставлял следить за подрядчиком не вилка, а особого надзирателя — «стража». Не всегда, однако, мера эта обеспечивала желательный результат: количество строжайших предписаний, которыми хозяин опутывал своего подрядчика, заставляет думать, что и этот последний, и члены его артели были далеко не прочь прибавить к своим законным доходам еще и незаконные. Путь здесь имелось два: можно было исхитриться и действовать тайком от «стража» и вилка, но гораздо удобнее и спокойнее было сговориться с обоими к обоюдному удовольствию одной и другой стороны. От вилка требовалось только, чтобы он смотрел в другую сторону, — усилие ничтожное, а между тем приносившее свои плоды. Вилик был тем более вправе его сделать, что прямой надзор за съемщиком был поручен не ему, а в обход его — "стражу".

Надо признать, что вилик-стяжатель принадлежал в рабской среде к числу избранных. Он уберег в себе человеческое достоинство настолько, чтобы не наслаждаться бессмысленной жестокостью, и не испытывал зудящей страсти ле-

читать свои раны страданиями других; он оставался глух к призывам грубой чувственности; он сумел закрыть глаза на все мелкие соблазны повседневной жизни и знать одну единственную достойную цель: сбросить с себя рабское иго. Все операции его, которые он проделывал за спиной хозяина и вопреки его воле, требовали незаурядных качеств: тут нужны были и ум, и сметливость, и находчивость, и предприимчивость. Из всех виликов он, надо думать, вел хозяйство наилучшим образом: в его выгодах было угождать хозяину и ладить с рабами. Дипломатическими способностями он не был обижен и в большой степени обладал "умением распорядиться", которое так высоко ценил Колумелла. У него было достаточно веских причин, чтобы дорожить своим местом, и совершенно отсутствовало легкомыслие гуляки, весело продававшего богатые перспективы своего положения за короткий промежуток легкой жизни. Ему выгодно было не раздражать рабов и заботиться о них, но нужно было и заставить их работать, и он умел это делать, не вызывая в них недовольства и раздражения. Хо-

зяину вилик-стяжатель умел показать товар лицом и, обкрадывая его, не зарывался и не терял чувства меры. Хозяйство при нем не разваливалось, рабы не жаловались и не разбегались, и не только беспечный и ничего не понимавший в деревенском деле владелец, но и опытный, зоркий хозяин, вынужденный силой жизненных обстоятельств большую часть времени проводить где-то вдали от своего имения, терпел своего плутоватого вилика: найди-ка лучше его! А стяжатель тем временем сколачивал деньгу и начинал думать о том, чтобы выкупиться на свободу.

Глава третья. УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Древняя Италия была страной грамотной. Трудно сказать, с какого времени грамотность стала достоянием широких слоев населения, но уже в половине II в. до н. э. пароль в армии передавался не устно, а письменно: солдаты, тысячи тысяч крестьянских сыновей, умели читать. Пройдут столетия — и маленькие Помпеи подтвердят, что искусством чтения и письма владеют люди, отнюдь не принадлежащие к богатым и знатым верхам. Те, кто испещрил надписями стены помпейских зданий, всех тайн орфографии не постигли: они делают ошибки, пропускают буквы. Велика беда! Написать свое имя, нацарапать врезавшееся в память двестише или собственный насмешливый стишок, подразнить веселой шуткой приятеля или послать ему привет — все это они могут, на все это у них хватает умения: они ведь кончили начальную школу.

У нас есть достаточно сведений для характеристики римской школы, средней и высшей: о ней многое рассказали и Квинтилиан, и Светоний, и Сенека-отец. Превосходные работы о ней написаны на Западе. Римскую школу грамоты

не удостоили вниманием ни ее современники, ни новейшие исследователи. А она его заслуживает уже потому, что это была единственная школа, доступная бедным слоям населения, единственная, куда они посылали своих сыновей и дочерей (в начальной школе обучение совместное), чтобы они взошли на ту первую ступеньку к мудрости, которой, по словам старинной русской пословицы, является азбука.

Скромными и бедными были ученики начальной школы; беден и скромн был их учитель. Дело его было хлопотливым и трудным, дохода приносило мало, а почету — и вовсе никакого. Он не имеет права называться «профессором» — это титул преподавателей средней и высшей школы ("грамматиков" и "риторов") — он всего-навсего "школьный наставник"; он не смеет сидеть в просторном кресле с высокой спинкой (кафедра) — оно предназначено только для грамматиков и риторов; императоры даруют «профессорам» большие привилегии — о "школьном учителе" они и не вспоминают. Затруднений ему, правда, не чинят: он не должен ни у кого спраши-

вать разрешения открыть школу, никому не должен представлять отчетов о ведении школьного дела; никто не присылает ему ни указов, ни распоряжений. Свобода у него полная — и открыть школу где угодно, и преподавать как хочешь, и умирать с голоду, если не хватит средств и способностей отвести от себя эту, по словам Гезиода, "жалостнейшую смерть".

На такое невыгодное и незаметное место охотников, естественно, было мало. Занимали его с горя те, кому не удалось пристроиться в жизни лучше. Средней и высшей школой ведали обычно греки; учитель грамоты чаще всего был своим, земляком, уроженцем Италии. Изувеченный солдат, вынужденный до срока оставить военную службу, ремесленник или крестьянин, не способные по болезни или по старости к своему труду, решали открыть начальную школу — все-таки какой-то заработок.

Будущий учитель заранее должен обеспечить себе контингент учащихся. Он выискивает место, где много детворы школьного возраста и нет поблизости школы, с которой пришлось бы всту-

пать в соперничество; знакомится с родителями и старается, конечно, ослепить их блеском своих знаний и своего педагогического умения. Сделать это нетрудно: многого от него не требуют, пусть только выучит детей читать, писать и считать — хватит! И учитель пускается на поиски помещения для своей школы.

Так как средства его весьма ограничены, то хорошей, просторной и светлой комнаты он и не ищет. Его вполне удовлетворит какой-нибудь сарайчик, дощатый чулан, полутемная мастерская, которую не захотел снять ни один ремесленник, а то и просто навес над пустующим хлевом. Иногда у него нет денег и на такое помещение, и он устраивается со своими учениками на открытом воздухе, где-нибудь под портиком форума, и только отгородит грубым широким полотнищем своих питомцев от веселой и шумной уличной пестроты. Приобретет он еще несколько табуреток или скамеек для учеников (дети пишут, держа письменные принадлежности на коленях, — столов не нужно) и стул для себя — вот «школа» и оборудована.

Нам трудно даже представить, насколько античная школа была бедна учебными пособиями: нет букварей, нет прописей, отсутствует привычная для нас большая классная доска; книги, которые к концу I в. н. э. сильно подешевеют, для бедняков, чьи дети ходят в начальную школу, останутся дорогой вещью. Первое время и ученики, и учителя обходятся без всяких пособий, учитель заставляет своих питомцев выучивать с голоса названия букв а, в, с — ученики дружным хором повторяют за ним эти названия, и так длится из урока в урок, пока все и каждый не вытвердят алфавит от а до z. Только тогда учитель начинал показывать самые буквы, приучая связывать заученные названия с определенным начертанием. Он приносил в класс большую дощечку, покрытую тонким слоем воска, вешал ее на стенку и острым железным грифелем (стилем) писал на ней буквы, сообщая ученикам: "это а, это в", и класс дружно вопил за ним: "а, в". Иногда в распоряжении учителя бывал набор букв, вырезанных из дерева или из дешевой кости; он поднимал одну букву за другой и учил детей азбуке с

помощью этого подвижного алфавита. Школьники на этой стадии обучения должны были запастись навощенными дощечками и стилем — железной или костяной палочкой, одним концом которой, острым, писали, другим, тупым, стирали написанное. Дощечки по виду и оформлению совершенно напоминали грифельные доски, которые еще в начале нынешнего столетия были в употреблении у всех учившихся грамоте: небольшая деревянная дощечка в деревянной же рамке, покрытая слоем воска, который сверху обычно закрашивали черной краской, чтобы очертания букв выступали яснее. Учитель подходил к одному, к другому ученику, писал на его дощечке какую-нибудь букву из числа выученных и спрашивал, что это. Худо было ответить раз-другой невпопад! Учитель скор на расправу: схватит поперек туловища и, держа головой вниз, так отшлепает, что не сесть. И еще в его распоряжении есть и ремень, и розги, и тонкая гибкая тросточка (ферула), от которой рукам бывает очень больно.

Когда азбука была, наконец, выучена, начинали твердить слоги, и как раньше названия букв,

так сейчас ученики вслед за учителем, который писал слоги на доске, выкрикивали; $b, a = ba$; $b, e = be$; $b, i = bi$ и т. д. В это же время, по-видимому, начиналось и обучение письму. Учитель показывал ученику, как надо держать стиль, брал его руку и выводил очертания буквы; ученик должен был ее скопировать. После отдельных букв очередь доходила до слогов, и только потом приступали к чтению и написанию целых слов. Иногда учитель заготавливал таблички с буквами, врезанными в дерево; дети несколько раз обводили одну букву своим грифелем, а затем уже старались изобразить ее на своей навощенной табличке. Изготовление таких дощечек требовало, конечно, от учителя затраты времени, но они избавляли его в классе от необходимости метаться от одного ученика к другому, показывая, как выводить букву — этому учил вырезанный ее очерк, и учитель получал возможность заняться другим делом: подогнать отстающих, заставить какого-нибудь ленивца прочесть написанные слоги — мало ли работы для учителя в классе!

Когда ученики уже в такой степени одолевали

грамоту, что справлялись более или менее сносно с целыми словами — могли и прочесть их, и написать — учитель выводил на ученических дощечках какое-нибудь изречение, и ученики должны были, копируя, исписать им всю свою дощечку. Урок чтения теперь состоял в том, что на своей, висевшей на стене табличке учитель выписывал несколько таких же назидательных изречений и пословиц и заставлял их прочитывать. Затем наступал черед связного, относительно длинного текста. Откуда его было взять? Мы говорили уже, что ни букварей, ни хрестоматий не было. В I в. н. э. имелась богатая латинская литература, но, во-первых, сам учитель по большей части был с ней не очень хорошо знаком; во-вторых, не все в ней годилось для детского возраста и понимания и, наконец, в-третьих, где было в селе или в каком-нибудь захолустном городишке достать то, что подошло бы для классного чтения? Не говоря уже о том, что на покупку книг нужны деньги, а их не всегда хватает и на сытный обед. Школе приходилось помогать себе самой.

Школьные таблички были слишком малы для

большого текста, и требовалась бумага, хоть некоторое количество ее листиков; учеников частично снабжал бумагой учитель, частично они запасались ею сами. Дело обстояло так. Произведения незадачливых писателей, которые никак не раскупались и лежали мертвым грузом по книжным полкам, книготорговцы продавали оптом или в бакалейные лавочки (Марциал опасался, как бы его стихи не пошли на обертку соленой рыбы или на фунтики для перца), или в школу. Макулатура эта стояла в самой низкой цене и была доступна и учителю, и ученикам, а службу им служила большую. Античные свитки представляли собой длинную полосу папирусных листиков, склеенных краями; полосу эту наворачивали на деревянный стерженек, к которому прочно приклеивали последний листок полосы. Читатель брал свиток обеими руками, отгибал первый листок и по мере прочтения сворачивал полосу в противоположную сторону. Ясно, что при таком оформлении книги писать можно было только на одной стороне листиков; обратная сторона оставалась чистой. Вот на этой чистой стороне учи-

тель и писал тот текст, который он хотел читать в классе. Выбор текста зависел от уровня образованности учителя, его личного вкуса и его педагогического такта. Можно было списать для начала текст Законов XII таблиц (Цицерон и его сверстники должны были в детстве заучить этот текст на память). Если учитель обладал даром литературного изложения и хотел заинтересовать своих питомцев, он пересказывал для них старые сказки и басни, которые сам слышал когда-то в детстве. Можно обзавестись какой-нибудь книгой исторического содержания и оттуда извлекать ряд эпизодов и интересных, и нравоучительных.

Чтение в те времена далеко не было таким простым делом, как сейчас. Слова писались слитно, непрерывной строкой; знаков препинания не было. Первые встречи с незнакомым текстом приводили в замешательство и взрослых, вполне грамотных людей. Можно представить себе, каким страшным лесом казались эти сплошные ряды букв детям, которые только-только научились отличать одну букву от другой. Учитель, раздав

ученикам листки с переписанным текстом, начал урок чтения с того, что сам прочитывал этот текст, останавливаясь в тех местах, где это требовалось по смыслу, меняя тембр голоса, объясняя непонятные слова. И уже после него начинают один за другим читать ученики. После того как они навькнули писать более или менее отчетливо и быстро, учитель перестает списывать для них текст, а заставляет их самих писать под диктовку, «вспахивать», говоря словами Марциала, обратную сторону папирусных листков, исписанных когда-то с лицевой бедным неудачником-поэтом. Предварительно школьники знакомятся с несколько иной техникой письма: приучаются писать пером и чернилами. Чернила приготовлял из сажи (75 %) и гуммиарабика (25 %) сам учитель. Перьями служил тростник; птичьи перья вошли в употребление не раньше VI в. н. э. Чтобы очинить как следует тростинку — ею можно было выводить и толстые, и тонкие линии — требовалось умение, и по крайней мере на первых порах перья ученикам чинил учитель. Ленивый ученик, которому смерть не хочется сесть за

письмо, жалуется, что он не может писать таким пером: только возьмешь его в руки и на бумаге сразу целых две кляксы!

Третьим предметом в начальной школе была арифметика. Так же, как буквы и слоги, дети дружно выкрикивали: "один да один — два, два да два — четыре"; обучались четырем правилам арифметики, знакомились с дробями; учились считать в уме. Устному счету придавали большое значение: в повседневной жизни умение сосчитать, сложить, вычесть, разделить требовалось на каждом шагу. В римской школе арифметика была предметом гораздо более трудным, чем у нас. У римлян цифра не приобретала числового значения в зависимости от места. Десятки можно было обозначить и одной цифрой — L (50), и шестью — LXXXIX (89); сотни и одной — C (100), и тремя — CCC (300), и пятью — DCCCC (900). Это же самое число обозначалось и двумя цифрами — CM (M было знаком для тысячи). При действиях с дробями исходили из деления единицы на 12 частей; каждая из них имела свое название. Простейшая задачка, вроде

"сколько получится, если от $5/12$ отнять $1/12$? А если прибавить $1/12$?", в римской школе приобретала такую форму: "Если от квинкункса ($5/12$) отнять унцию ($1/12$), сколько будет? — Триенс ($1/3$). — А если прибавить унцию? — Получится семис ($1/2$)" — Учились считать и с помощью абака — своеобразных счетов, в которых по желобкам передвигались кнопки.

Школьный день начинался рано: с рассветом весной и еще до рассвета зимой. Марциал жаловался, что его ни свет ни заря будят голоса школьников и окрики учителя. В полдень дети уходили домой поесть и опять возвращались часа на три в школу. Тут на глазах учителя они и готовили свои уроки.

Кроме обучения своих питомцев, учитель изготавлял еще для них ряд "учебных пособий": вырезал буквы, переписывал тексты, делал чернила. Сколько он получал с ученика за свой труд, мы не знаем, но если учителю средней школы ("грамматику") платили сумму весьма скромную, то, конечно, на долю учителя грамоты приходилось еще меньше.

Ученье в начальной школе продолжалось пять лет; по словам героя в одной комедии Плавта, за такой срок могла обучиться и овца. Мы очень ошибемся, если, положившись на эти слова, решим, что римские школьники тех давних времен были не толковее овцы. Судя по замечаниям, рассеянным в литературе, по помпейским надписям и рисункам, нацарапанным детской рукой, это были смышленные, бойкие, острые ребята. Но, во-первых, пять лет, которые, считалось, они проводили в школе, надо сократить почти наполовину. В городской школе летние каникулы продолжались четыре месяца: с половины июня до половины октября; в сельской они были, вероятно, еще длиннее, потому что родителям требовалась помощь детей по хозяйству: и в поле, и в огороде, и по уходу за скотиной. К этим каникулам присоединялись еще годовые праздники; праздничных дней набегало в общем месяцев до двух. А, во-вторых, методы преподавания — мы это видели — были так несовершенны, так не приспособлены к детскому мышлению и восприятию, что немудрено, если грамоту, ко-

тору теперь самый тупой ученик усваивает за несколько недель, римские школьники одолевали за несколько месяцев. Нечего и говорить, насколько «наша» арифметика легче римской.

Определить объем знаний учителя начальной школы со всей точностью невозможно. Он был, конечно, очень разным. В каком-нибудь медвежьем углу его знания мало чем превышали уровень той школьной премудрости, которую он преподносил своим ученикам; в большом городе, например, в Риме, требования к нему значительно повышались. Для Квинтилиана само собой разумеется, что ученик выходит из начальной школы не только с умением читать и писать; он знаком с элементарной грамматикой, разбирается в родах, числах и падежах, в лицах и временах, правильно склоняет и спрягает. По его словам, этими знаниями владеет любой встречный; учитель начальной школы, следовательно, должен был, по крайней мере в Риме, не просто уметь читать и писать, но и знать этимологию, а это при отсутствии в то время хорошо и точно разработанной грамматики было делом вовсе не таким простым.

Надгробие Филокала.

Сведения о простых людях древнего Рима мы черпаем главным образом из надписей. Сохранилось довольно много надписей о цирковых возницах, о гладиаторах, о разных ремесленниках. Но только одна единственная надпись донесла до нас голос начального учителя. Жил он в Капуе (это был большой торговый город в Кампании) во времена Августа; звали его Фурием Филокалом. Он сочинил для себя эпитафию, которую и вырезали на его надгробной плите; из нее мы и узнаем кое-что о его жизни и о его внутреннем облике.

Жил он бедно; сам он говорит об этом, и бедность его засвидетельствована тем, что похоронили его на средства погребального общества (это были ассоциации бедняков, ежемесячно делавших скромные взносы в кассу общества, которое обязано было позаботиться о пристойном погребении своих членов). Заработок от школы был, видимо, ничтожным: Фурий вынужден был еще прирабатывать составлением завещаний. Был он в какой-то степени знаком с фи-

лософией; учение пифагорейцев о том, что тело — темница для души, пришлось ему по сердцу. Он называл себя аврунком (одно из древних италийских племен); видимо, история и этнография родной страны его интересовали. Эпитафию свою сочинил он в стихах, правда, довольно неуклюжих; но тайной стихосложения как-никак владел. Для учителя грамоты был он человеком весьма образованным.

Четко вырисовывается его нравственный идеал: он жил "бедно и честно", был безукоризненно чист в отношениях с учениками. Люди безграмотные и неискушенные в юридических тонкостях могли на него вполне полагаться и быть уверенны, что он передаст их последнюю волю в полном согласии с их мыслями и желаниями. Он не отвечал отказом на просьбы и никого в жизни не обидел. Расставаясь с начальной школой, хорошо задержаться на этой скромной, полной тихого достоинства фигуре.

Начальные школы были рассеяны по всей Италии. Для Ливия гул детских голосов в школе и шум от работы в мастерских одинаково харак-

терны для будничной жизни маленького италийского городка; Агрикола, прекрасный полководец и умный политик, покорив Британию, сразу же открывает ряд школ, чтобы приобщить побежденных к римской культуре; в маленьком шахтерском поселке Випаске в далекой Португалии, на краю света, по тогдашним представлениям, учитель грамоты устраивает школу. Рим покори́л мир не только мечом — он победил его своей культурой. И эта победа никогда не была бы одержана без незаметного, крепко забытого учителя начальной школы.

Глава четвертая. ВРАЧ

Врачи в древней Италии появились поздно. В течение долгого времени лечились домашними средствами. Лекарства были под рукой — достаточно было пройти в огород или походить по лугу и лесу. Отваром горлянки (наша тыква древним была неизвестна) укрепляли расшатавшиеся зубы, он же помогал от зубной боли. Раны хорошо смазывать таким снадобьем: возьми горлянку целиком, запеки ее и разотри вместе с гусиным жиром. Если болят ноги, к ним надо прикладывать сырую репу, истолченную вместе с солью. От кашля помогает редька с медом; надо есть ее по утрам натощак. При язвах во рту надо есть лук с хлебом; глаза хорошо натирать луковым соком: зрение становится острее. Отваром красной свеклы моют голову при парше, и это средство очень действительное; сырой свекольный сок помогает от головной боли и головокружения. Если в ушах стоит звон, сок капают в уши, и звон проходит. Прекращается от него и зубная боль. Весной следует есть крапиву: это предохранит на целый год от болезней. Отваром ее лечат кашель и простуду. Настой луковиц лилии на вине по-

могает при отравлении грибами и от змеиного укуса. Венок из темно-красных левкоев отрезвлял пьяного и прогонял тяжесть в голове. Корень желтого левкоя варили в уксусе и натирались этим при болях в селезенке и при подагре; листья, сваренные с медом, прикладывали к нарывам на голове: они вытягивали гной. Если из носа идет кровь, надо растереть сухую крапиву и засунуть ее в ноздри. Еще лучше натереть ее корень и втягивать этот порошок носом, а при насморке класть на нос примочки из настойки ее семян на виноградном соке, предварительно уваренном до половины прежнего объема. Луковицы асфодели, сваренные в ячменном отваре, считались превосходным лекарством при чахотке. Больным, ослабевшим после длительной болезни, рекомендовалось давать полбяную кашу с овечьим или козьим молоком и медом.

Существовал целый ряд лекарственных настоек. Глисты, например, гнали настойкой гранат на терпком красном вине; прострел лечили можжевелевой настойкой; желудочные заболевания и боли в боку — миртовой. Рецепт лекарства,

которым Катон (II в. до н. э.) рекомендовал очищать желудок, стоит привести целиком: "Возьми себе горшок, влей туда шесть секстариев¹ воды и положи туда копыто от окорока.² Если у тебя копыта не окажется, возьми кусок ветчины, только совсем не жирной, весом в полфунта.³ Когда он начнет увариваться, положи туда два кочешка капусты, две свеклы с ботвой вместе, росток папоротника, немного меркуриевой травы,⁴ два фунта мидии, рыбу головача, скорпиона,⁵ шесть улиток и горсть чечевицы. Все это увари до трех секстариев жидкости. Масла не подбавляй. Возь-

¹Секстарий равен 0.547 л.

²Копыта от окорока в древней Италии не отрубали.

³Римский фунт равен 327 гр.

⁴Трава эта и посейчас называется в ботанике "Меркуриевой".

⁵Что разумел Катон под «скорпионом», морскую рыбу, известную под этим именем, или колючее растение, называвшееся так же, неизвестно.

ми секстарий этой жидкости, пока она теплая, подбавь еще один киаф косского вина,⁶ выпей, передохни, потом вторично таким же образом, затем в третий раз: прочистишь себя хорошо. Если захочешь сверх того выпить косского вина с водой, — можно, пей. Любой из названных выше предметов может прочистить желудок. Столько предметов взято затем, чтобы прочистило хорошенько. И снадобье это приятно на вкус".

Лечение не обходилось без заговоров и суеверных обрядов. Крапивой можно было вылечить малярию — и терциану, и квартану, привязав больному корень крапивы, вырытой осенью; только, вырывая, надо было сказать, для кого ее предназначают (назвать имя больного, а также имя его отца). Марсы (италийское племя, жившее в Средней Италии) считались специалистами по лечению змеиных укусов, лечили

⁶Киаф равен почти 0.05 л. Косским вином называлось вино, приготовленное следующим образом: виноград, подавив его руками, клали в морскую воду, чтобы он ею пропитался. Потом этот виноград выжимали; полученное вино и было "косским".

они травами и заговорами. Вот как лечил вывих Катон: "Если есть какой вывих, то он исправится от такого заговора: возьми себе зеленую тростинку в 4–5 футов⁷ длины, расколи ее вдоль и пусть два человека держат эти половинки у бедра. Начиная петь: "Motas vaeta daries dardares astataries dissunapiter" — и пой, пока половинки не сойдутся. Размахивай над ними железом. Когда половинки сошлись и одна коснулась другой, возьми их в руку, обрежь слева и справа и привяжи к вывиху или перелому: все заживет. Пой, однако, этот заговор ежедневно и при вывихе, или еще так: "Huat haut haut istasis ardannabou dannaustra". Смысл этого магического заклинания можно передать так: "Как половинки расщепленного тростника соприкоснулись одна к другой, так должны соединиться вывихнутые суставы или сломанные кости". Заговор состоит из набора бессмысленных слов, но сопровождается разумным лечением: обрезав расколотую тростинку "справа и слева", т. е. по обе

⁷Римский фут равен 29.57 см.

стороны руки, получают шесть крепких шин,⁸ в которые и кладут поврежденный член. Подагру лечили так: следовало натошак трижды девять раз пропеть: "Земля болезнь держи, здоровье здесь подожди в моих ногах", коснуться земли и сплунуть. Надлежало при этом помянуть мифического героя Тарквену.

Знатоками заговоров, всяких домашних средств и целебных трав часто оказывались почтенные отцы семейств вроде Катона и Сазерны. Катон составил для сына даже лечебник, содержащий перечень средств, которыми старый цензор лечил себя и всех домашних, включая рабов. Важное значение имела, по его словам, и пища: больному давали овощи и мясо разной дичи; особенно полезной считал Катон зайчатину, потому что заячье жаркое наводило на больного сон.

Аптек в Риме не было ни в республиканское время, ни при империи. Травы собирали и суши-

⁸Тростник, который имеет в виду Катон, это длинный толстый тростник, употреблявшийся для подпорок в виноградниках, для обиванья маслин и для удилищ.

ли дома и дома же приготавливали всякие лекарственные снадобья. Были и особые «фармакополы» (слово греческое, значит "торговцы лекарствами"); люди эти бродили по городам и ярмаркам, предлагали целебные травы, готовили настойки и порошки и слыли отъявленными шарлатанами. Появились они довольно рано; уже Катон говорил о них как о краснобаях-обманщиках, которых можно послушать, но которым ни один больной не позволит лечить себя. Судя по их греческому наименованию, можно думать, что первые фармакополы и были греками, но вскоре появились у них и местные итальянские конкуренты. Вели они себя, конечно, так же, как их греческие собратья, о которых кое-какие сведения сохранились в IX книге Феофрастова "Исследования о растениях": старались тоже придать себе больше веса, рассказывали о том, с какими трудностями связано их ремесло, какие опасности угрожают при собирании некоторых трав. Интерес к лекарственным растениям в римском обществе был, конечно, большой. Когда Помпей разбил Митридата, в его руки попало сочинение понтийского

царя о лекарственных растениях: Митридату присылали их со всех концов его царства и он составил описание их вида и свойств. Помпей велел перевести эти записки на латинский язык своему отпущеннику Ленею, человеку образованному и знатоку обоих языков. "Таким образом победа Помпея принесла не меньше пользы людям в их частной жизни, чем государству", — заметил по этому поводу Плиний.

А в I в. н. э. в Риме уже существовал небольшой ботанический сад, и его хозяин, Антоний Кастор, великий знаток целебных трав, разводил их здесь во множестве. Плиний знал его уже столетним стариком; он сохранил и память, и умственную свежесть и оставил после себя книгу, которая была одновременно и определителем медицинских растений, и лечебником, излагавшим, какими растениями, в каких случаях и каким образом пользоваться. Судя по книгам Плиния, посвященным медицине, лечение травами и народными средствами прочно держалось в римском обществе и только было усложнено всякими гигиеническими и физиотерапевтическими предпи-

саниями, которые внедрялись греческими врачами, постепенно забравшими в свои руки почти целиком дело врачевания.

Первый врач-профессионал появился в Риме в 219 г. до н. э. Был он греком из Пелопоннеса, звался Архагатом и был специалистом-хирургом, лечившим раны. Приехал он как раз ко времени: надвигалась война с Ганнибалом и практика ему предстояла немалая. Архагата встретили с радостью, дали ему римское гражданство (а римляне на этот дар были скупы) и предоставили ему купленное на государственные деньги помещение, где он лечил бы своих пациентов. Вскоре, однако, способы, которые он применял при лечении, навлекли на него общую ненависть. "Он так жестоко резал и прижигал, — рассказывает Плиний, — что его имя стало обозначением палача; к медицине и ко всем врачам начали относиться с отвращением". Катон противопоставлял прадедовский верный способ лечения смертоубийственным измышлениям чужеземцев. "Считай, что слова мои пророческие. . . , — писал он сыну, — греки дали друг другу клятву погубить

своим лечением всех варваров; этим именно они у нас и занимаются и за это берут деньги, — иначе им не стали бы верить и не так легко было бы им изничтожить нас. Варварами они ведь нас называют. . . Я накладываю тебе запрещение на врачей".

Слова эти прозвучали впустую. Греческих врачей в Риме все прибывает; встречают их приветливо, и пришельцы отнюдь не стремятся «изничтожать» заболевших варваров. Плиний Старший, прочно усвоивший себе позу изобличителя современности, рассказывая о врачах, постарался стать на стезю, проложенную Катонем. Его все возмущает во врачебной среде: и отсутствие единого направления в медицине, и споры разных медицинских школ, резко расходившихся между собой в методах лечения, и даже большие собрания, нажитые некоторыми врачами. Он сердится на легкое верие римлян, которые доверчиво полагаются на греческих врачей и пренебрегают лечением, если врач говорит на их родном, понятном им языке. Он с удовольствием обвиняет огулом врачей в шарлатанстве: "все они придумывают

новинки, чтобы создать себе имя, и сразу же начинают торг нашей жизнью; этим объясняются и жалкие споры у постели больного, когда ни один врач не согласится с другим, чтобы не показаться его приспешником. Поэтому на одном памятнике и появилась мрачная надпись: "Я умер потому, что меня лечило множество врачей". Нельзя сказать, чтобы в этих горьких словах не было вовсе правды. Дело в том, что в древней Италии каждый мог объявить себя врачом, как мог объявить и учителем: от «врача» не требовалось никаких свидетельств, его не подвергали никакому экзамену.

Только когда появилась официальная должность городского врача — а появилась она поздно, лишь во II в. н. э., — человек, избранный городом на это место, должен был доказать свою пригодность перед комиссией, составленной из врачей, знания и опытность которых были доказаны их долголетней и успешной практикой. Частным врачом мог заявить себя каждый. В одной басне Федра рассказывается, как незадачливый сапожник решает оставить колодки и шило и

заняться врачебной деятельностью; его многоречивость убеждает людей, что он в медицине понимает больше, чем в сапожном ремесле. "Кто из врачей красноречивее, — утверждает Плиний, — тот и распоряжается нашей жизнью". Плохому врачу не грозило наказания: "они учатся на нашем несчастье и ставят на нас опыты, кончающиеся смертью; и только врач, убив человека, пользуется совершенной безнаказанностью".

Не следует, однако, безоговорочно доверять Плинию и думать, что все врачи I—II вв. н. э. были невежественными корыстолюбцами и бесстыдными болтунами. Среди них есть люди основательного философского образования, которое освещает и приводит в систему их медицинские познания. Они обладают всей полнотой тогдашней науки о врачевании; мало того — медицина является для них областью наблюдений, опытов, размышлений; они работают в этой области, пишут по вопросам диагностики, терапии, диететики (в широком значении этого слова), собирают около себя толпу учеников и становятся иногда основателями новой медицинской школы. В рим-

ском свете они свои люди; они приняты в первых домах столицы; для них распахнуты двери императорского дворца. Искусные врачеватели, знатоки человеческого сердца, они умело сочетают жесткую требовательность в главном с ласковой снисходительностью к безобидным прихотям своих больных. Твердой рукой ведут они их к выздоровлению, если оно вообще возможно, и кажутся иногда благодарным и растроганным пациентам посланниками неба. Память об этих медицинских светилах сохраняется в ряде поколений; врачи позднейших времен страницами делают выписки из их книг. Себя обычно эти люди не забывают, и у Плиния сохранились сведения о накопленных ими иногда миллионных богатствах.

Представители этой врачебной аристократии далеки от "простых людей"; чтобы встретить «простого» врача, надо далеко уйти от этих светил медицинского мира. Тогда отчетливо выступят черты иного облика. Врач, о котором сейчас и пойдет речь, это действительно "простой человек", занимающий в обществе весьма скромное место. Он не пишет книг, к нему не стекаются

любопытные юноши; он лечит бедняков и рабов — сам часто бедняк и часто сам раб. Иногда он и умирает рабом; иногда выходит на свободу по милости господина или же за деньги, которые удалось собрать на выкуп. Его жизнь и работа проходят тихо и незаметно среди таких же незаметных и неизвестных простецов; сведений об этих врачах напрасно было бы искать у Плиния и других современных им писателей. Единственным источником, откуда мы можем узнать кое-что об их жизни, являются надгробные надписи. Надписи эти составлены в выражениях стандартных; биографических подробностей ждать от них нечего; они в равной мере скупы и на конкретные сведения, и на взрывы чувств. Кое-что все-таки из них можно извлечь, а так как это «кое-что» — единственное, чем мы располагаем, то только и остается подбирать эти жалкие обломки биографий, которые, вероятно, бывали иногда интереснее любого романа приключений.

Первое, что бросается в глаза при самом беглом чтении этих надписей: ни в Риме, ни в других городах Италии врачей-римлян почти нет. Эвме-

лы, Никероты, Дорифоры: одно за другим мелькают греческие имена — сплошь греки, вероятно, выходцы с эллинистического Востока. Кое-кто из этих греков — рабы: признаком рабского состояния служит наличие одного единственного имени, к которому в родительном падеже присоединяется имя господина (Тиранн, раб Ливии; Филет, раб Марцеллы, и пр.). Люди, носящие тройное имя, причем буква I (libertus — отпущенник) отсутствует, — несомненно люди свободные, но их греческие собственные имена (Памфил, Эвксин, Менандр и т. п.) свидетельствуют о том, что они сыновья отпущенников, а в некоторых случаях, может быть, и сами отпущенники, но только упомянуть об этом забыла дружеская рука, которая хотела увековечить в надписи память почившего. И, наконец, имеется ряд надписей, в которых принадлежность врача к отпущенникам признана и засвидетельствована присоединением к имени покойного буквы I. Таким образом, перед нами проходит три категории врачей: рабы, отпущенники и свободные. Присмотримся к каждой из этих групп в отдельности.

Надписи, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют судить только об имущественном и семейном положении «простых» врачей. Нечего ожидать, конечно, что мы сможем определить их состояние в точных цифрах. Можно сказать только, что были врачи состоятельные, были обладавшие достатком средним, были и вовсе бедняки. Мы найдем эти группы и среди свободных, и среди отпущенников, и среди рабов.

Раб не мог иметь никакой собственности. Так гласил закон, но живая жизнь часто ломает, безмолвно и незаметно, юридические нормы. Фактически у раба бывало имущество, и хозяин на это имущество руки не накладывал. У нас есть надписи, из которых ясно, что раб-врач далеко не всегда был бедняком. Келад, раб Антонины, жены Друза Старшего, заказал надгробие "Христе, подруге по рабству и жене"; Гила, врач бегового общества, устраивавшего конские состязания, изготовил еще при жизни "себе и костям своим" огромную мраморную плиту; Кассий, "врач, раб цезаря нашего" (Траяна), располагал большими средствами и оставил жене своей и отпущенни-

ков, и отпущенниц. Фирий, раб императора Тита, "чтивший родителей своих", которые и поставили ему памятник, выражал, надо думать, свое «почтение» в действиях, сопряженных с расходами. Зосима, раб отпущенника Гимна, смог купить себе «наместницу». Отметим, что из пяти «состоятельных» рабов трое принадлежат императорскому дому. Надо полагать, что в дворцовом ведомстве рабам вообще жилось привольнее, чем в любом другом месте, и возможностей скопить и сберечь накопленное было больше. Вряд ли случайно то обстоятельство, что крепким достатком обзавелись преимущественно императорские отпущенники. Мы знаем семь богатых врачей отпущенников, из них только двое отпущены частными лицами, остальные пятеро вышли на свободу из дворца; у Гагна, отпущенника кого-то из Флавиев, ко дню смерти были уже отпущенники; Аминта, отпущенник Адриана, заказывает мраморное надгробие "себе, супруге, детям, отпущенникам и отпущенницам"; отпущенники и отпущенницы поминаются в надписях Епафродита и Агафемера, двух других отпущен-

ников Адриана, равно как и в надписи Евтиха, бывшего Неронова раба. Три из этих надписей — к ним можно прибавить и четвертую надпись Гостия Памфила — были заказаны главой семьи еще при жизни его. Это итог тем человеческим отношениям, которые он сумел завязать в своей жизни: жена, дети, рабы, которым он вернул свободу.

В надгробиях, поставленных вдовами, все равно, были они замужем за отпущенником или за человеком свободным, отпущенники обычно не упоминаются. Не успел ли еще приобрести себе рабов врач? Вряд ли. Ему, как это видно из некоторых надписей, шел уже пятый десяток. Вероятнее, что жена, обычно тоже отпущенница, расчетливая скопидомка, оставшись без мужа, вовсе не торопилась с отпуском рабов на волю. Без средств эти женщины отнюдь не оставались: они не размахиваются на такие огромные и дорогие усыпальницы, какие, например, соорудили себе при жизни Гостий Памфил или Каскеллий Гемин, но они могут почтить память мужа надгробным алтарем, мраморным памятником или

по крайней мере мраморной плитой. И надпись, которую они велят вырезать, обычно стандартная — ставит такая-то "супругу достойнейшему, себе, своим близким и потомству их" — говорит о спокойной уверенности в завтрашнем дне, которая дается годами достатка и независимости. И если в надписи Алкимиана, отпущенного кем-то из Флавиев, и Афинодора, отпущенного Клавдием или Нероном (обе сделаны вдовами), отпущенники не упоминаются, это вовсе не значит, что у них не было рабов и что оба эти врача были бедняками. Относительно Алкимиана, главного врача императорских рабов, можно прямо утверждать, что он был человеком со средствами. Задержимся несколько на организации врачебного дела в императорском хозяйстве. Рабское многолюдье этого хозяйства обслуживалось множеством врачей, разделенных на десятки — декурии, во главе которых стояли «десятники» — декурионы; над всеми врачами был поставлен, говоря нашим языком, "главный врач"; в состав декурии входили и отпущенники, и рабы; декурионы и «главврачи», известные нам, были свобод-

ными людьми или отпущенниками. Во врачебном придворном мире представлены (не считая терапевтов) три специальности: хирурги, врачи по глазным и по ушным болезням. Врачу-терапевту отводился свой участок работы: Гимений, отпущенник Клавдия, лечил библиотечных работников; уже упоминавшийся Агафемер обслуживал театральные технический персонал; Евтих, отпущенник Нерона, был приставлен к гладиаторской "Утренней школе", и там же работал хирургом отпущенник Адриана, Элий Асклепиад.

Надписи сохранили нам имена двух "главных врачей": Ореста, отпущенника Ливии, жены Августа, о котором нам ничего неизвестно, и упомянутого уже Алкимиана, на могиле которого вдова воздвигла алтарь. Известны и два декуриона: Сперат, отпущенник Ливии, который поставил "по любви" погребальную урну "своему Полидевку", и Марк Ливий Беф — на нем стоит задержаться. Надписи с его именем найдены в колумбарии Ливии; администрация императорского колумбария ставила, конечно, на надгробных дощечках звание покойного в строгом соответ-

ствии с действительностью. Так как при имени Бефа нет буквы I, это значит, что он родился свободным человеком. Его второе имя «Ливий» указывает, однако, на рабский корень: отец его был рабом императорского дома, а потом отпущенником. Очень возможно, что отец был тоже врачом. Сын оперился; он приобретает в колумбарии «место» для своего друга, Сперата; у него есть отпущенница Иола; он не простой врач, а декурион. Он не уходит с дворцовой службы: может быть, мы имеем здесь пример наследования должности.

Перейдем к врачам свободным. По состоятельности эти врачи, сыновья отпущенников, родившиеся свободными, уступают — и значительно уступают — врачам-отпущенникам. Отпущенники Гостий Памфил, Аминта, Агафемер, Евтих ставят памятники своей семье и своим отпущенникам; свободного Теренция Писта, дожившего почти до 90 лет, и жену его хоронит супружеская пара, его отпущенники; Тиберия Клавдия Бласта — его отпущенница. Только усыпальница Аллия Памфила (25x25 фт) может поспорить с усы-

пальницами отпущенников — Каскеллия Гемина (20x25 фт) и Гостия Памфила (13x24); у остальных свободных они значительно скромнее (14x14 — у М. Юлия Секунда; 10x6 — у Кв. Фабия Келлада; 7x8 — у Л. Офиллия Юкунда). Только трое из свободных врачей говорят о рабах и отпущенниках (и то Т. Флавий Целий — об отпущенниках своих двух сыновей); у остальных — один отпущенник или одна отпущенница, она же и жена; много, если отпущенников двое. Как объяснить это явление? Случайностью в нахождении надписей? Тем, что отцам этих людей не удалось поставить сыновей на ноги и заложить крепкий фундамент, на котором сыновьям уже просто было строить собственное благополучие? То и другое возможно, как возможно и третье объяснение: сыновья, выросшие в понятиях и чувствах свободного человека, утратили цепкую, жадную и беззастенчивую энергию отцов, которая знай ломила к намеченной цели, не оглядываясь ни направо, ни налево, только бы ухватить жирный кусок и прочно осесть на теплом местечке. Рабская жизнь, безжалостная и бесправная, не об-

стругала жестоким своим рубанком их сердца; они стали, может быть, ленивее, но стали и щедрее, и милостивее, и человечнее. Знаменательно, что только среди этих свободных оказались такие, которые оставили благодарную память в сердцах людей, чья жизнь и чье счастье были целиком в их руках. "Самому лучшему патрону" пишут отпущенники Теренция Писта, поставившие ему мраморный памятник; Клавдий Геракл кладет мраморную плиту своему патрону, Клавдию Деметрию, "по любви к нему и за его заслуги"; Юлия Розиана Аполлинария не забыли два его отпущенника; Клавдия Алкима его отпущенница Реститута называет "добрым патроном и достойным руководителем".

Есть надписи — их немало, — которые в большинстве можно считать надписями на могилах бедняков: тут будут и рабы, и отпущенники, и свободные. Над нишами, где стояли сосуды с пеплом умерших, помещены маленькие таблички, на которых означено только имя умершего. Ставила их или администрация колумбария, принадлежавшего тому дому, где покойный был рабом

или отпущенником, или погребальная коллегия, в которой он состоял членом; очень редко кто-либо из близких, назвавших свое имя. Бедностью и одиночеством дышит от этих табличек; сколько горечи бывает скрыто за этими протокольными — сухими, короткими строчками! "Квинт Граний, врач 80 лет. Поставил Карп, раб Фульвия". Никого родного; глубокая беспомощная старость; бедность, граничащая с нищетой; хоронит чужой раб. Что связывало этих людей? Вылечил его когда-то Граний? Оказал какое-то благодеяние? Был просто добр и ласков к "говорящему орудю"?

Значительная часть наших «простых» врачей — люди женатые и семейные; холостяков немного. Одиночество и бедность идут рука об руку; в тех табличках, о которых только что говорилось, никогда не упоминается ни жена, ни дети. По всей вероятности, врач обзаводился семьей уже тогда, когда чувствовал, что положение его твердо и обеспечено; бедняк и неудачник не женится.

Жены врачей — по национальности гречан-

ки (Хреста, Мосхида, Ника, Глафира, Мирина, Фиамида и т. д. и т. д.), по социальному происхождению отпущенницы, иногда даже рабыни. Случается, что врач женится на собственной отпущеннице; императорские отпущенники находят себе жен обычно в дворцовом же мире: Афинодор, которого еще мальчиком освободил Нерон, уже пожилым человеком женился на отпущеннице Траяна; Элий Аминта женат на Элии Иексе, а Элий Агафемер — на Элии Иорте: обе пары — отпущенники Адриана. Кассий, раб Траяна, женился на его отпущеннице Ульпии Сабине; отпущенник Адриана Эпафродит взял в жены Никополиду, "рабыню Цезаря нашего". Домашний круг врачей частных лиц был, конечно, не так широк, и врачи, их отпущенники, ищут себе жен на стороне: Памфил, отпущенник Гостию, женат на Гельпии, отпущеннице М. Гимнина; Дионисий, отпущенник Т. Кокцея, — на Фиамиде, отпущеннице Гн. Помпония; Авл Валерий Памфил взял в жены Скантию Юкунду, "отпущенницу двух Гавев".

Далеко, однако, не все надписи упоминают

о социальном положении жены. Клавдий Гименей, отпущенник императора Клавдия, был женат на Клавдии Евтихии, которую он называет "святой, достойной супругой". Нет сомнения, что она отпущеница, но надпись об этом молчит. Уже упомянутые нами Элий Аминта и Элий Агафемер забывают упомянуть звание своих жен. Гостий Памфил, отпущенник Гостию, поставил большую усыпальницу "себе, Гельпии, отпущенице М. Гимнина, всем отпущенникам и отпущеницам и потомству их". Эта Гельпия, выделенная из семьи всех отпущенников, занимала, конечно, особое место в доме, но Памфил не хочет назвать ее своей женой. Каскеллий Гемин Марион, соорудивший огромную усыпальницу себе и Каскеллии Смирне, отпущенице, вероятно, его же хозяйина, не обмолвился и словом о союзе, их связывавшем. Есть, правда, две надписи, где врач говорит о том, что его жена — отпущеница, но в обоих случаях — это его собственная отпущеница: сладко чувствовать себя человеком не только свободным, но имеющим власть даровать свободу другому. Вообще же мужьям как-то неловко,

что они женаты на отпущенницах. И тут мы подходим к очень интересному вопросу о том, как относилось к врачу общество, в котором он жил. Оно ставило его невысоко. Раб, будь он и прекрасным лекарем, все равно оставался рабом и из прочего рабского окружения его не выделяли: в колумбарии Ливии врач Тиранн покоем рядом с рабом, который ведал гардеробом; места врача Гигина и швеи Каллитихи оказались рядом. Врач Зосима выдал свою родственницу за раба; врач Келад женат на рабыне. Врач-отпущенник, "вчерашний раб", особого уважения к себе тоже не внушал. И сам он не чуждается рабского общества: ближайшими друзьями врача Атимета были рабы; Эпафродит, человек, которому поручено следить за здоровьем наследников престола, женится на рабыне, пусть "Цезаря нашего", но все равно рабыне. Естественно, что в сердцах этих людей занозой сидит память об их рабском происхождении. Как они радовались, когда след этого прошлого оказывался дочиста стерт! "Гай Цецилий Аквила, сын Гая, Сабинской трибы" — отец умершего, Гай Цецилий Диет,

сын отпущенника, полностью выписал имя покойного сына: настоящий римлянин! деда-раба как и не было. "Марк Юний, сын М. Зенодора, Корнелиевой трибы" — чужие люди, хоронившие бедного одинокого врача-массажиста, явно грека по происхождению, все-таки не забыли упомянуть его римское гражданство. На какие хитрости отпущенник-врач ни пускается, чтобы убедить окружающий мир в том, что он коренной римлянин! "Клавдии Глафире, достойной жене, поставил Ти Клавдий, сын Лета, прозвищем Лет" — на этой надписи стоит остановиться. Наличие прозвища указывает на II в.; и первое, и второе имя — ведут в I в. Надо полагать, что дед или прадед нашего Лета получил свободу от кого-то из Клавдиев, может быть, был императорским отпущенником. Его собственное имя было, конечно, Hilarus (греческое hilaros, "веселый"), но внук перевел его на латинский язык — прочь это ненавистное, греческое имя, неопровержимо изобличающее рабский корень! "Ти. Клавдий, сын Лета, Лет" совсем по-римски: одни латинские слова. И в той среде, где живет и действует Лет,

кому известно, что собственного римского имени «Лет» нет и не было и что его именная формула отнюдь не соответствует формуле подлинного римского имени. Марк Ацилий Потин переделал свое греческое прозвище Potheinos на латинский лад: Potinus. Он скончался в Афинах, но его отпущенник Ахиллей, несомненный грек, пишет надгробную надпись по-латыни. Грек происхождением, Потин в центре эллинской культуры настаивает на том, что он римлянин. Любопытна эпитафия из колумбария, где хоронили рабов и отпущенников богатого и знатного рода Статилиев Тавров. Эпитафия эта вырезана на надгробии двух маленьких детей врача Люсы, видимо, раба. Своему сыну он дал чисто римское имя Грат, думается, с расчетом, что когда его, Люсу, отпустят на волю, имя сына будет звучать совсем по-римски: Тавр Статилий Грат. Для дочери это не так важно; ее можно назвать родным греческим словом: пусть будет Spude.

Большинство надгробий поставлено или мужем-врачом жене и другим членам семьи, или мужу-врачу его женой. Редко заботу вдовы о мо-

гиле почившего разделяют дети: может быть, они еще совсем малы; может быть, судьба забросила их так далеко, что они и не знают о смерти отца. Надгробий, поставленных родителями сыну, мало, и это вполне естественно. Имеется три надписи, поставленных братьями (две — совместно со вдовами покойных). Одна из них очень интересна потому, что позволяет заглянуть в жизнь рабской семьи, из которой вышли оба брата; оба, по-видимому, врачи. Гласит она так: "Л. Лелий Сальвий, отпущенник Лелия Церена, врач, прожил 31 год. Брат, Сект Апулей Сотер, поставил на свои средства". Второе имя отпущенника — это всегда родовое имя хозяина, отпустившего на волю своего раба. Хозяин Сальвия принадлежал к роду Лелиев; брат Сальвия, Сотер, при имени которого слово «отпущенник» не стоит, родился свободным от отца, которого освободил хозяин из рода Апулеев. Сальвия, видимо, когда отец еще был рабом, продали Лелиям, в доме которых он и получил свободу.

Как лечили эти люди и где получили они свое медицинское образование?

Среди врачей, практиковавших в пестром мире столичной и италийской бедноты, были, конечно, как и среди модных врачей высшего света, шарлатаны и даже преступники. Сапожник Федра, о котором упомянуто было выше, лечил, конечно, плохо. Есть одна надпись с очень знаменательными словами: "Я прославлен искусством, которое еще облагородила моя честность". Честность, видимо, не всегда сочеталась с профессией врача. Цицерон бросил одному подсудимому обвинение в том, что отец его уморил ряд лиц, ему неугодных, с помощью врача. Бабка обвиняемого отказалась лечиться у этого врача, потому что "от его лечения она потеряла всех своих". Можно думать, однако, что большинство врачей лечило хорошо и добросовестно; иначе трудно объяснить, откуда у них тот достаток, о котором неоспоримо свидетельствуют надписи. Чтобы обеспечить себе практику, врач должен был относиться к больному с величайшим вниманием, просиживать над ним часами, ломая голову на том, как поставить его на ноги. Он создавал свое благосостояние действительно "трудом

и заботой". Если он не сумел справиться с болезнью и неудачи постигали его и раз, и другой, и третий, то к нему переставали обращаться, и призрак голодной жизни становился для него ощутительно-грозным. Трудно представить себе работу более нервную и жизнь более беспокойную, чем жизнь врача, и не только начинающего. Уже создав себе добрую славу, он не смел успокоиться и считать свое положение прочным: несколько промахов, какая-то небрежность, подмеченная больным или его семьей, — и репутация его рушилась. Чтобы жить и утвердиться в жизни врачу, надо было стать хорошим врачом, и у нас есть надписи, свидетельствующие о хорошем лечении: "врачу за его заслуги"; "врачу Евтихиону в память его заслуг"; "Евтиху, отпущеннику и врачу достойнейшему".

Мы ничего не знаем о том, как и чем лечили эти "достоинейшие врачи", но можно думать, что они в значительной степени пользовались домашними средствами, отварами и настоянками, давно принятыми в народной медицине. Нечего было пускать пыль в глаза бедному ремесленни-

ку, лежавшему в жалкой каморке за своей мастерской, предписывая ему всякие заморские и дорогие средства: у больного не было на них денег. А такие лекарства, как свекольный или редечный сок и настойки на гранатах или на ягодах черного мирта были вполне доступны и весьма эффективны.

Где и как обучался врач, раб или отпущенник, у кого приобретал он медицинские знания? Государственное обучение медицине началось только с III в. н. э., до этого времени обучение было частным и бесконтрольным. Опытный врач окружал себя учениками и помощниками, которые сопровождали его при посещении больных и которых он наставлял во врачебном деле преимущественно на практике. Марциал в шутку писал, что, когда он слегка занемог и его пришел навестить врач Симмах, то после того как его перещупали все его ученики, от прикосновения сотни ледяных рук он схватил настоящую простуду. Среди учеников Симмаха были несомненно и рабы: хозяин, заметив среди своих рабов способного и грамотного юношу, посылал его в

науку к кому-нибудь из знакомых врачей. Какой доход приносил иногда хозяину обучавшийся медицине раб, можно судить по тому, что Эрот Мерула, глазной врач в маленьком городке, откупился на свободу за 50 тыс. сестерций. Иногда врач, опытный и состоятельный, намечал себе ученика среди своих рабов; может быть, благодарные надписи патронам-благодетелям, приведенные выше, были сделаны именно учениками. Часты были случаи, когда отец-врач учил сына своему искусству, заставляя его помогать при лечении больных. Наследование сыном профессии отца — дело обычное и естественное; легко представить себе существование семей, где медицинские знания передавались по наследству.

Врач, поселившись в определенном районе, пользовал главным образом население этого района: при огромности Рима и отсутствии средств сообщения, доступных людям небогатым, это было вполне естественно. Тут его все знали: Гемеллину достаточно было написать на ошейнике, который он надел на своего однажды сбежавшего раба "отведи меня на Широкую улицу к

врачу Гемеллину" — каждому на Широкой было известно, где живет Гемеллин. Бывали случаи, что врач решал поискать счастья не на одном месте, а странствуя по округе. Иногда он оседал где-нибудь на более длительное время, и тогда окрестные усадьбы торопились сговориться с ним и заключить договор относительно оказания врачебной помощи.

В заключение остается сказать еще об одной группе врачей. Это не римские граждане и не отпущенники: у них нет тройного имени и нет отметки *lib*; они не рабы: при имени их не стоит имени хозяина. Имена у них, как и следовало ожидать, сплошь греческие: Фирс, Атимет, Евтихион, Никерот и т. д. Из 12 человек, относящихся к этой категории, только трое женатых; ни о каком состоянии у них речи нет, они не успели его составить, не успели ни создать себе положения, ни обзавестись семьей. Да и когда было! Фазис умер 17 лет, Менандр — 21 года, Египта похоронила мать. По всей вероятности, мы имеем дело с юношами-греками, которые приехали в Рим, слепивший молодежь всего мира видени-

ями богатства и славы. Одинокие, без средств, без покровителей, с дружескими связями только среди своих и самое большое — среди дворцовых рабов, они нашли в Риме только смерть, часто преждевременную.

Если от врачей, которые жили и практиковали в Риме, мы перейдем к их собратьям, рассеянным по разным — большим и малым — городам древней Италии, то по первому взгляду все окажется знакомым: опять почти сплошь греческие имена; опять врачи-отпущенники или их сыновья, уже свободные, но еще не получившие римского гражданства. Имущественное положение их, как правило, неплохое, бедняков среди них мы видим мало. Врачи посвящают в дар богам кто алтарь, кто статую (Арий Келад даже заново отремонтировал обветшавший храм Марса), строят себе усыпальницы, иногда очень большие (у Авфестия Сотера, например, — 20x30 м). Ацилий Потин смог предпринять далекое путешествие из Бононии в Афины. Врачи, получившие звание севиоров, делали обязательно некоторый взнос в благодарность за оказанную им

честь; сумма взноса не была определена, но приличие требовало, чтобы новый сеvir внес достаточно; сеvиров среди провинциальных врачей мы видим восемь. Л. Вафр Никифор, врач из Сасины, был патроном местной коллегии мастеров и продавцов различной одежды — такое положение мог занять только человек со средствами. Были среди врачей и настоящие богачи. Эрот Мерула, глазной врач из Асизия, оставил после себя капитал в 800 тыс. сестерций. Все это люди I–II вв. н. э. В начале III в. в Беневенте городской врач Л. Стей Рутилий Манилий вступил в сословие всадников, т. е. располагал цензом в 400 тыс. сестерций, которые, надо думать, были только частью его богатства. Стоит задержаться на семье этого человека. Перед нами проходят три его поколения: дед, сын и внук. Дед, Л. Стей Евтих, — явный грек и, по всей вероятности, отпущенник; сын, упомянутый выше, Л. Стей Манилий, — городской врач и римский всадник; внук, сын Манилия, Скратей Манилиан, — полноправный римский гражданин, зачисленный в Стеллатинскую трибу, избирается на высшую му-

ниципальную должность в родном городе. Он получает звание *praetor aeralis* и по этому поводу щедро одаривает сограждан — "разбрасывает тессеры", особые марки, по которым граждане получают золотые монеты, серебряную и бронзовую посуду, одежду и прочее; подобные раздачи были возможны, конечно, только при большом богатстве.

Мы говорили уже об отношении римского общества к врачам. Их уважали и ценили иногда как врачей и презирали всегда и как вчерашних рабов, и как "голодных гречат". Достаточно бегло просмотреть сочинения писателей того времени, чтобы убедиться, какой запас презрения накопил у себя в душе искони свободный римлянин против "ахейского сброда", причем это презрение он не стеснялся рассыпать щедро и в самых разнообразных формах — от яростно-гневно-го обличения у Ювенала до веселых и язвительных насмешек у Петрония и Марциала. Можно было, получив свободу, заказать свою статую в тоге, можно было изощряться в переделке своего имени на римский лад, но клеймо недавнего

рабства и чужеземного происхождения не смывалось так легко. Чтобы свести его, требовалось войти в некое дело общегосударственного значения, участие в котором равняло бы всех, независимо от социального происхождения и национальной принадлежности. Пришельцы и бывшие рабы нашли себе это дело, обнаружив в его выборе незаурядную проницательность деловых людей: они пристроились к культу императора и создали севират и коллегияу августалов. Коллегия эта, помимо своего политического значения, сыграла огромную роль в деле выработки нового общественного самосознания. Недавний раб, уроженец какого-то азийского захолустья, приобщенный к культу, который был утверждением не только императорской власти, но и римского единства, поднимался в собственных глазах: он оказывался одним из тех, кто утверждал эту власть и поддерживал это единство в такой же мере, как любой сенатор и коренной римлянин. На чужака начинают смотреть как на своего, и — что, пожалуй, важнее — чужак начинает чувствовать себя своим.

Вся эта переработка не столько даже мыслей, сколько общественных настроений происходила медленно. Эта перемена яснее улавливается в маленьких италийских городках, где было меньше римской спеси, а жизнь была проще и тише и ближе сталкивала людей. И тут в привычной жизни врачей появляется совершенно новая черта, которой мы не видели в Риме: это участие врача в общественной жизни города. В Остии устройство и архитектурное обрамление перекрестка берут на себя дуовиры и цензор — иначе говоря, верхи муниципальной знати — и несколько отпущенников, в том числе Д. Цецилий Никий, врач, отпущенник двух Децимов (перекрестки были как раз тем местом, где наряду с Ларами почитался и гений Августа). В Азизии упомянутый уже Эрот Мерула, отпущенник и севир, украшает статуями храм Геркулеса и замаскирует улицы. В Беневенте врач Навзеллий Виталис, августал, не только украсил в своем квартале перекресток портиком, но и распорядился, чтобы из его капитала ежегодно выдавалось по 600 сестерций на празднование дня рождения его

сына, офицера римской армии. Все эти люди живут общей жизнью с гражданами того города, куда они пришли, может быть, еще рабами. Теперь они заботятся о своем городе и украшают свой город. И себя эти люди начинают чувствовать иначе: перестают стесняться того, что они отпущенники; к ним начинают относиться как к равным. Руфрий Фавст и Нумиторий Асклепиад, оба севиры и оба отпущенники, женаты на римских гражданках. Педаний Руф, коренной италиец, судя по имени, называет своим другом врача Элия Сабиниана, августала, т. е. вольноотпущенника. Г. Феретрий Муска, сын Тита, ставит памятник отпущеннику Ветулену Серапиону, "врачу и другу". И когда сеvir Пупий Ментор, отпущенник, велит изобразить себя в римской тоге, то это символически выражает и его собственное убеждение в том, что он имеет право произнести торжественную и гордую формулу "я — римский гражданин", и признание окружающим обществом этого права.

Глава пятая. ПОЖАРНИК

1

Пожары были бичом древнего Рима. Не стоило записывать в летописи, что сгорело несколько частных домов, но когда огнем уничтожало целые районы, то упомянуть о таком несчастье летописец считал обязательным. В 213 г. до н. э. дотла выгорело все пространство от Авентина до Капитолия; не осталось ни одного дома на Яремной улице, огибавшей Капитолий; погибло два древних храма, построенных, по преданию, еще Сервием Туллием. Через три года новый пожар вспыхнул в нескольких местах вокруг Форума. На Форуме загорелись мастерские и лавки; сгорел дом, где жили весталки; едва удалось отстоять храм Весты, величайшую святыню города. Огонь перекинулся на соседние дома, поднялся

на Капитолий, уничтожил рынок, находившийся между Священной Дорогой и Аргилетом. Пожар 192 г., начавшись с Коровьего рынка, прошел полосой до самого Тибра. В императорское время Рим горел неоднократно, но особенно страшным был пожар 64 г., при котором пострадало больше половины города: уцелело только четыре района, три были сравнены с землей, в остальных семи кое-где стояли полуобгорелые и разрушенные здания. Это обилие пожаров, этот широкий разлив огня объясняются рядом причин: характером строительства и выбором строительных материалов, особенностями планировки Рима и больше всего — бытовыми условиями римской городской жизни.

Дома в несколько этажей были в Риме уже в конце III в. до н. э.; полтора столетия спустя Цицерон говорил, что город поднялся в воздух. Для императорского Рима характерны именно многоэтажные, многоквартирные дома (они называются инсулами). Печей в этих домах не было; римляне знали отопление горячим воздухом, по крайней мере с половины I в. до н. э., но хозяин

инсулы устраивал такое отопление самое большее в нескольких комнатах первого этажа, если рассчитывал поселиться здесь сам или имел на примете состоятельного и выгодного съемщика. Жильцы остальных квартир обогревались жаровнями, куда насыпали крупный древесный уголь или клали мелко нарубленные чурки. В Риме бывает холодно и сыро; для обитателей инсул жаровня заменяла и печку, и очаг, на котором готовилась пища. Для освещения служили светильники: глиняные или бронзовые плоские, куда наливали оливкового масла и вставляли один-два, а то и несколько фитилей. Малейшая оплошность: кто-то впопыхах нечаянно толкнул жаровню — на пол вылетала раскаленная головешка; расшалившиеся ребята опрокинули светильник — масло разлилось и вспыхнуло. Кругом дерево: полы, двери, оконные ставни. Перегородки между комнатами часто устраивали из переплетенных между собой веток; Витрувий называл такие стены факелами. Мебель, особенно у людей небогатых, была деревянной. Занимается стол, дверь — огонь ползет дальше, а тушить его

нечем. Рим полон плеска, шума и шороха воды; 14 водопроводов щедро снабжают водой несколько сотен бассейнов и фонтанов, но по квартирам воды нет. Чтобы провести воду к себе в дом, требуется специальное разрешение императора; оно дается лично такому-то и по смерти этого человека отбирается. Поэт Марциал умильно выпрашивал у Домициана разрешения провести воду в свой городской дом и свою загородную усадьбу. Владелец инсулы, которому разрешено получить воду, может поставить во дворе колонку, откуда жильцы и будут брать для себя воду; может провести ее в свою квартиру в первом этаже, но и только. Остальное население дома обходится без воды. Закон обязывал, правда, квартирантов держать на случай пожара запас воды, но много ли ее натаскаешь на четвертый или пятый этаж, в маленькую, тесную, забитую людьми квартиру, да и чем поможет какой-то десяток ведер среди морем разлившегося пламени. Пищи ему много: дома в Риме стояли тесно, один к другому впри-тык, часто с общей смежной стеной; улицы были узкими (4–5 м ширины). Авл Геллий (писатель

начала II в. н. э.) рассказывает, как мгновенно на его глазах огонь с одной инсулы перекинулся на другие дома — "все вокруг вспыхнуло и слилось в один огромный пожар".

Естественно, что и городские власти, и само население были очень озабочены тем, как организовать борьбу с пожарами. В республиканское время пожарной службой ведали "ночные триумвиры"; «ночными» называли их потому, что особая бдительность требовалась от них именно по ночам. В распоряжении их находилась пожарная команда, составленная из государственных рабов. Была она, по-видимому, не очень многочисленной, потому что богатые люди собирали пожарные дружины из своих рабов и за деньги или даром предоставляли их в распоряжение городских властей. Население бедных кварталов, которому пожары были особенно страшны, принимало, конечно, энергичное участие в тушении огня; очень вероятно, что здесь составлялись добровольческие пожарные общества, между членами которых заранее распределялись обязанности при тушении пожара и которые обязаны были

являться на пожар с предметом, заранее указанным: кто прибежал с ведром, кто с лестницей, кто с топором. Строгого порядка и крепкой организации тут не было, да и ночные триумвиры особой ревности к своим обязанностям, видимо, не проявляли. Источники наши сообщают, что их не раз привлекали к ответственности: то они забыли проверить посты пожарников, то пришли со своей командой на пожар тогда, когда потушить его уже не было возможности. Пожарная служба в Риме времен республики была организована плохо, а город между тем все разрастался, непрерывно строился, стягивал к себе все больше и больше людей. Сама жизнь требовала реорганизации пожарного дела. Август и взялся за нее.

В 6 г. н. э. в Риме вспыхнул огромный пожар, охвативший значительную часть города; Август собрал для его тушения большую пожарную дружину, которую думал в скором времени распустить, но "увидав на деле, как полезна и необходима ее работа, отказался от этого намерения". Так возник в Риме внушительный корпус пожарников, составленный из 7000 человек и по-

лучивший наименование «бодрствующих» (вигили). Корпус разместили по всему городу с таким расчетом, чтобы каждая тысяча пожарников (когорта) обслуживала два смежных района (Рим был разделен Августом на 14 районов); кроме того, в каждом районе находился еще караульный пост, куда людей назначали поочередно. Название «бодрствующих» дано было не зря: пожарники проводят на ногах всю ночь; с водой, ведрами и топорами ходят их патрули по району и сразу же бросаются туда, где вспыхнул пожар, вызывая на помощь товарищей. И начальнику корпуса, префекту вигилей, спать не положено; вместе со своими пожарниками круглую ночь снует он по городу.

Август набрал первый корпус пожарников из добровольцев-отпущенников, и в дальнейшем, по крайней мере в течение I в. н. э., состав его пополнялся главным образом отпущенниками. Это определило отношение свободного римского населения к пожарникам. «Бодрствующие» организованы на военный лад: корпус их делится на когорты, а когорты — на центурии (сотни), как в

римском легионе; как и в легионе, сотней командует сотник (центурион), а когортой — трибун, обычно старый заслуженный легионный центурион, которого повышают, назначая его трибуном у пожарников. Дисциплина у них военная, такая же строгая, как в легионе; срок службы определенный, как у солдата; пожарник не смеет уйти, пока не отслужит положенных ему 16 лет. И тем не менее их не считают солдатами, продвижения по службе для них нет. Они не могут перейти ни в легион, ни в "городские когорты", не говоря уже о преторианской гвардии. Даже после закона 24 г. н. э., по которому отпущенник, прослуживший в пожарных частях шесть лет, получал полное римское гражданство, почетная солдатская служба легионера закрыта для пожарника. К ним относятся без уважения; их дразнят насмешливой кличкой «ведерничков» (пожарники совершали свои обходы неизменно с ведрами); их считают низшей породой людей. А службу они несут тяжкую, неблагодарную, неразлучную со смертельной опасностью.

Пожарный инвентарь того времени включал

в себя следующие предметы: ручные насосы, ведра, сплетенные из спарта (растение, дающее очень крепкие волокна *Spartus tenacissimus* L) и хорошо осмоленные, лестницы, длинные шесты, губки, большие лоскутные одеяла, сшитые из кусков толстой грубой шерстяной материи — центоны, большие толстые тюфяки (*emitula*), песок, уксус, топоры и крючья разных видов и размеров, пилы, багры, баллисты — античные «пушки», с помощью которых разбивали стены осажденных городов. Зачем пожарникам эти каменометы? Почему у них такое количество инструментов, предназначенных совершать работу разрушительную? И почему в составе каждой когорты имеются особые отряды, специально обученные тому, как этими инструментами действовать? Дело в том, что техника пожарного дела была в те времена иной, чем теперь. Задачей пожарников было, конечно, в первую очередь потушить огонь. Это удавалось далеко не всегда, потому что тогдашние насосы были очень несовершенны и не могли подавать воду в таком количестве и такой сильной струей, которая могла

бы загасить сильный огонь. Когда люди видели, что им не отстоять горящего здания, их обязанностью становилось преградить дорогу огню, не дать ему пищи, создать вокруг бушующего пламени пустое пространство, где огонь погас бы сам собою. Римские пожарники останавливали огонь так, как когда-то у нас по деревням: разрушали горящий дом и постройки по соседству. Тут-то первыми и выступали на сцену баллистарии.

Попробуем представить себе работу «бодрствующих» на пожаре. При первом же сигнале тревоги (чаще всего подавал его патруль, раньше всех заметивший огонь) когорта района, находившегося на ее попечении, устремлялась к загоревшемуся дому. Впереди и опережая всех несся акварий (aqua — вода). Этот человек должен был знать в обоих районах, порученных его когорте, все бассейны, все водонапорные колонки, одним словом, все места, откуда можно было брать воду. Он распоряжался подачей воды в насос из бассейна, наиболее близкого к месту пожара; составлял цепочкой людей с ведрами — одни из них наливали воду в насос, другие передавали ведра

прямо пожарникам, заливавшим огонь, — и следил за тем, чтобы вода доставлялась быстро и бесперебойно. Он был хорошо знаком с работой водного ведомства в своих районах, знал, на какое количество воды из этого бассейна он может рассчитывать и, если по его соображениям воды этой оказалось бы мало, он уже заранее выстраивал дополнительно людей у другого бассейна. Акварий должен был обладать превосходной памятью, ясно, во всех мелочах, представлять себе план своих районов, быстро соображать и стремительно действовать.

Как ни плохи были тогдашние насосы, свое дело они все-таки делали, и Плиний Младший справедливо негодовал на жителей Никомедии, которые по своей бесхозяйственности забыли обзавестись такими насосами. Римские пожарники пользовались ими, вероятно, с самого момента создания своего корпуса. Ведали этими насосами сифонарии: это были механики, которые следили за исправностью своих «сифонов» (так назывались эти насосы), умели быстро их наладить, если во время работы что-то в них «заедало»,

и занимались их ремонтом, когда они выходили из строя. Аквари и сифонарии были единственными людьми в пожарном корпусе, которые по самому роду своей службы подвергались опасности меньше, чем остальные их товарищи.

В горящем здании огонь заливали водой и на него набрасывали центоны, намоченные в уксусе. Этими тяжелыми полотнищами орудовал особый отряд центонариев. Если в дом уже нельзя было проникнуть по входным лестницам, пожарные с ведрами воды и центонарии со своими «одеждами» взбирались по приставным лестницам и через окна влезали в горящую инсулу. Ведра с водой, передаваемые по цепочке людей из рук в руки, одно за другим непрерывно исчезали в окнах; на помощь центонариям внутри дома лезли их товарищи с мокрыми центонами в руках. Другие пожарники, стоя несколько поодаль от дома и в самом горящем здании, швыряли, метя в определенное место, губки, полные уксуса и надетые на длинные шесты; уксус, растекаясь струйками и разбрызгиваясь в разные стороны, гасил огонь. А возле пылающей инсулы суежилась "спа-

сательная служба" — эмитулярии, расстилавшие на земле тюфяки, о которых упоминалось выше: надо было учесть, на каком расстоянии от какого этажа их уложить, чтобы люди, выбрасывавшиеся из окон, не так уже расшибались. Эмитулярии находились у самого огня, подхватывали выскакивавших и падавших людей, выносили их в безопасное место и передавали на попечение врачей, которых при каждой пожарной когорте было по четыре человека.

Когда становилось ясно, что дома не отстоять, а огонь разливается все дальше и дальше, за дело брались баллистарии. Приходилось им труднее, чем легионным баллистариям, бившим из своих орудий по стенам осажденной крепости. У тех был простор, они могли выбрать место, с которого было наиболее удобно действовать камнеметом; баллистарии-пожарники этих преимуществ лишены. Они должны устанавливать свое орудие в тесноте римской улицы, в непосредственной близости от горящего здания, обваливающиеся стены которого грозили обрушиться на их же головы. Когда инсула была разрушена, за

работу брались фалькарии (falx — серп) и унциарии (uncus — крюк). Первые орудовали шестами, на которые были насажены огромные серповидные крючья; вторые действовали баграми меньшего размера. На этих отрядах лежала обязанность оттащить как можно дальше от огня все, что горело и что могло еще загореться: доски, бревна, вообще всякое дерево, а также раскаленные камни. Если кое-какие части стены еще держались, их «серпами» стаскивали вниз. Случалось, что баллисту никак нельзя было подвести и поставить; тогда работа по разрушению здания ложилась главным образом на фалькариев, которые, захватив своими тяжелыми «серпами» за подоконник или за какой-то выступ в стене, расшатывали ее, вырывали из нее куски и постепенно разрушали до основания.

Все эти люди — и те, кто с ведрами воды и тяжелыми сукнами в руках метался среди огненных языков, в облаках удушливого дыма и пара, и те, кто стоял на лестницах и поблизости от пылающего дома, и те, кто рушил его и растаскивал горящие обломки, — все подвергались смер-

тельной опасности. Те, кто тушил огонь внутри дома, могли погибнуть под провалившимся потолком, задохнуться в дыму, обгореть так, что спасти их было невозможно. Работавших около осыпало градом раскаленных камней и обломками пылающего дерева; вихрем, поднимающимся во время пожара, на них могло обрушиться тяжелую балку или бревно. Никто не был застрахован от тяжкого увечья и смерти. После каждого пожара «бодрствующие» не досчитывались своих товарищей — и вновь опять и опять кидались тушить новый пожар. Стойкое мужество этих "вчерашних рабов" сделало бы честь прославленным легионерам самого Цезаря; только благородные сердца могли так самоотверженно жертвовать своей жизнью, повинувшись голосу долга и чести. "Через сотни разъединяющих лет" почтительно склоняешься перед этими неизвестными героями, которых пренебрежительно не замечали надменные современники и так прочно забыли легкомысленные потомки.

Мы ничего не знаем об обучении римских пожарников, но наличие в их корпусе специальных отрядов свидетельствует о том, что такое обучение было. Само собой понятно, что сифонарии должны были понимать толк в механике, а баллистарии знать устройство баллисты, уметь управлять ею и метко стрелять. И те и другие могли обучиться своему делу на стороне и поступить в пожарный корпус уже в качестве специалистов. Что касается остальных четырех отрядов (фалькарии, унциарии, центонарии и эмитулярии), то людей для них отбирали среди тех, кто уже определился в пожарные. Занимался этим в первую очередь центурион; выбор его проверял трибун, а может быть, и сам префект вигилей.

Для того чтобы передавать ведра с водой или высадить топором двери загоревшегося дома, не требовалось ни умения, ни большой физической силы. Какая-то часть пожарников всю свою службу и оставалась на положении своего рода "подсобных рабочих"; они качали воду, их акварий выстраивал в ряд от бассейна до горящего дома; они ухаживали за лошадьми или мулами, запрягали их и правили ими. Ни один из наших источников не говорит о том, что у пожарников были лошади, но невозможно представить себе пожарную команду без лошадей. Баллисты несли не на руках, и не на руках доставляли к ним камни. Меха с уксусом, центоны, песок, спасательные тюфяки, лестницы, вообще всю пожарную снасть везли, конечно, на повозках; пожарники бежали только с ведрами и топорами в руках. Очень вероятно, что какая-то часть этих повозок стояла всегда наготове с уложенным снаряжением и впряженными лошадьми или мулами. Часть «подсобников» при них и дежурила.

В четыре особых отряда брали людей большой физической силы и проверенной отваги.

Прежде чем их туда назначить, к ним присматривались и проверяли их, приучали, если можно так выразиться, к огню, ставя их все ближе в цепочке подавальщиков воды, заставляя действовать в горящем здании. Отобранные проходили свой курс обучения: им показывали ряд технических приемов, делавших работу наиболее эффективной и наименее опасной; фалькария учили иначе, чем центонария или эмитулярия. Учили, объясняя и показывая, старые опытные пожарники: на пожаре новички работали рядом со своими учителями, следя за ними, повторяя их движения, стараясь от них не отставать. Ночные патрули пожарников, ходившие по городу, следили не только за тем, не вспыхнет ли где пожар, они были и ночной полицией, которая обязана была задерживать преступников (поджигатели, взломщики, воры подлежали суду префекта вигилей) и разгонять озорников, безобразивших ночью по римским улицам.

Ночной Рим был городом страшным. С наступлением ночи улицы погружались в темноту; уличного освещения ни в I, ни во II в. н. э. не

было (частично и в очень незначительных размерах оно появляется в III в. н. э.). "Когда дома будут заперты, — писал Ювенал, — в лавках все умолкнет, задвинут засовы и протянут цепи, тогда найдется человек, который тебя ограбит, а то появится и бандит и станет действовать ножом". В Помптинских болотах и в "Курином лесу" под Кумами, на берегу Кумского залива, скрывались разбойничьи шайки, совершавшие набеги на Рим. Так называемая Невиева роща в 6 км от Рима служила пристанищем разбойников. Не только они были опасны. Ювенал очень живо изобразил кучку молодых бездельников, издевающихся над бедняком, который задержался в гостях у приятеля и ночью при свете своего жалкого фонаря возвращается домой. Отон, будущий император, любил в ранней молодости слоняться по Риму в компании таких же повес, как он сам; если им навстречу попадался пьяный или хилый человек, его укладывали на плащ и подкидывали вверх. Отец Отона, суровый человек старого закала, не жалел на сына ремней, но юноша не вразумлялся. Забавы Нерона

были еще безобразнее: он уходил из дворца в густых сумерках, переодевшись простым бедняком; избивал встречных, бросал их в канавы, взламывал и грабил лавки. Молодые негодяи из богатых и знатных семейств радостно следовали примеру императора, и Рим, по словам Тацита, походил ночью на город, взятый приступом и отданный на волю победителя. Ночным патрулям хватало дела.

От III в. н. э. сохранились, хотя и не очень хорошо, надписи, нацарапанные в караульном помещении VII когорты за Тибром пожарниками, которые все без исключения говорят, что они несли службу себацариив (от *sebum* — всякий животный, нутряной жир, из которого делали свечи), т. е. заведовали освещением.

Патрули пожарников обходили свой район, конечно, со светом. Себацариий обязан был запасти в достаточном количестве все нужное для освещения: фонари, сальные свечи, жир и фитили для факелов (римские факелы представляли собой металлические трубки, полые в верхней части; туда вставляли фитиль и наливали жир).

Имелись еще светильники, где горело оливковое масло. Все надо было содержать в полном порядке: починить, почистить, заправить, вручить товарищам и фонари, и факелы в таком виде, что их оставалось только зажечь. Возможно, что себацитарий ведал и "уличным освещением": одна из надписей упоминает "фонари у дверей"; они развешивались, надо думать, над входом в некоторые здания, относительно близкие к караульному помещению. Обязанности свои он выполняет в течение месяца; они, видимо, тяжелы и хлопотливы — "я устал, дайте мне смену", — жалуется сбившийся с ног себацитарий. Иногда ему помогает кто-нибудь из товарищей, и пожарник с благодарностью вспоминает о своем помощнике. Вообще он любит, управившись со всеми обязанностями, после того как товарищи его ушли в обход, коротать время, поверяя стенам свои мысли и настроения или просто наслаждаясь процессом писания. Иногда он только выцарапает свое имя с именем центурии и сообщит, в каком месяце он заведовал освещением, но чаще укажет, при каких императоро-

рах, в год каких консулов он нес эту службу; он испытывает детское удовольствие, облакая свое, часто довольно безграмотное царпанье, в форму торжественно-официальную. Иногда он дает волю своим чувствам: "приношу благодарность эмигулярию", "вечно буду благодарен своим товарищам", но особенно часто встречается заметка: "все благополучно", "все товарищи живы и здоровы". Человек, на себе испытавший опасности пожарной службы и от них избавленный на тот месяц, когда он ведает только освещением, сидя в тишине и уюте своей караулки (помещение для караульного поста, где были сделаны все эти надписи, превосходное), все время испытывает тревогу за тех, кого ежеминутно подстерегает гибель. И если ничего страшного за его дежурство не случилось, и люди, с которыми он связан работой, дружбой, благодарностью, все оказываются целы и невредимы, он радостно и облегченно выводит "все благополучно".

Глава шестая. ХЛЕБНИК

"Е хлеб и до хлеба" — в старину на Украине этой поговоркой определялось полное благосостояние в доме. Хлеб был основой питания; без хлеба человек не чувствовал себя ни сытым, ни крепким. Так было и в древней Италии: главное — это хлеб, а остальное — только добавки к нему.

В маленькой прелестной поэмке, неправильно приписанной еще в древности Вергилию, "Завтрак селянина",⁹ подробно рассказывается, как бедный крестьянин Симил готовит себе утреннюю еду. Прежде всего ему нужно испечь хлеб; намолов на ручной мельнице муки,

В сито руками Симил оттуда муку переносит
И просеивает; в сите остались отруби
только.

⁹В подлиннике стихотворение это называется «Moretum». Так называлась мягкая смесь, приготовленная из соленого твердого сыра, перетолченного вместе с разными травами, острыми и пахучими. В нее подливали еще оливкового масла и уксусу; кушанье это служило приправой к хлебу.

Падает вниз безпримесной мука,
сквозь отверстия струится
Чистой. На гладкую прямо ее насы-
пает
Доску Симил и затем поливает теп-
лой водою.
Вместе мешает теперь он муку и лав-
ровые листья.¹⁰
Месит рукой загрубелой; вода между
тем вся впиталась.
Глыбу посыпавши солью, уже готовое
тесто
Он раскатал, и придав ладонями
круглую форму,
Пальцем на хлебе разметил четыре
равные части.
Ставит его на очаг и, миской закрыв,
засыпает углями.

Так же, как Симил, пекли хлеб и в богатых
домах во II в. до н. э. Вот рецепт Катона: "Хоро-
шенько вымой руки и кадушку. Всыпь в кадушку

¹⁰Их клали в хлеб для запаха.

муки, понемножку добавляя воды и как следует вымеси. Когда хорошенько вымесишь, раскатай и пеки под миской" (т. е. накрыв хлеб миской). Такой способ печения хлеба был, по-видимому, наиболее распространенным долгое время: судя по договору на постройку усадьбы, который приведен в книге Катона "О земледелии", в усадьбе хлебной печи не было, подрядчик обязан сложить только очаг. В крестьянских семьях хлеб пекли неизменно только по способу Симила, если его вообще пекли дома.

Ни Симила, ни Катон закваски в хлеб не кладут. С какого времени вошел в употребление квасный хлеб, мы не знаем, но Плиний Старший, который писал в половине I в. н. э., считал такой хлеб общеупотребительным; его ставили выше пресного, как наиболее полезный для здоровья. Закваской служил обычно комок старого теста, нарочно оставленный накануне в квашне. Делали и настоящие дрожжи: просяную муку или мелкие пшеничные отруби на три дня заливали виноградным соком, вымешивали их, сушили это тесто на солнце и по мере надобности нарезали

тонкими палочками, которые разводили в горячей воде и лили в муку.

Хлеб, по крайней мере до II в. до н. э., пекли дома; эта обязанность лежала на хозяйке и ее помощницах. В сельском быту практика эта сохранилась в течение всей республики и империи; во многих усадьбах, раскопанных под Помпеями, имеется хлебная печь. Крестьянин у себя такой печи не ставил, и Колумелла, современник Плиния Старшего, рекомендует хозяину, у которого землю снимают мелкие арендаторы-колоны, сложить при своей усадьбе печь такой величины, чтобы в ней хватало места для выпечки хлеба на все арендаторские семейства.

Профессиональные пекари появились в Риме, по словам Плиния, только в первой половине II в. до н. э. Открытие пекарен было здесь делом насущной необходимости: хлебные печи можно было поставить только в богатых особняках; в квартирах многоэтажных домов — а такие дома были в Риме уже в конце III в. до н. э. — нет даже очагов. Пекарни, надо думать, появились раньше указанного Плинием времени, и его сообще-

ние относится к особым мастерам — хлебопекам и пирожникам, приехавшим из Греции. Домашний хлеб в городах постепенно выходит вовсе из употребления; даже там, где его можно было бы печь дома, поставив хлебную печь (во многих помпейских домах это было возможно), предпочитают его покупать.

Италийская пекарня представляет немислимое для нас соединение мукомольного производства с хлебопекарным. Дело в том, что ветряных мельниц древность вовсе не знала: они появились только в средние века. Водяные были известны уже в начале I в. н. э., и один греческий поэт поздравлял девушек-мукомолок с тем, что они могут, наконец, спокойно спать и не вскакивать с первыми петухами, потому что отныне по велению Деметры тяжелые жернова будут вращать нимфы вод. Широкое распространение эти мельницы получили, однако, значительно позже (IV–V вв. н. э.), а до этого времени зерно мололи на мельницах, которые приводили в движение преимущественно ослы. В качестве наказания вертеть жернова посылали рабов, но это бы-

ло именно наказание, к которому в действительности прибегали значительно реже, чем привыкли думать, ссылаясь на комедии Плавта: каждый хозяин пекарни хотел запастись побольше муки, и животное могло намолоть ее, конечно, больше, чем человек, который к тому же особого рвения, надо думать, к работе не прилагал. Нерасчетливо было наказывать раба в ущерб собственной выгоде.

С мукомольным производством ознакомили нас мельницы, откопанные в Помпеях. Устройство их основано на том же принципе, что и современных. Зерно перетиралось между двумя жерновами: нижний был неподвижен, а верхний вращался по кругу. Только жернова эти имели совершенно иную форму. Нижний (его называли «мета» по сходству с дорожными милевыми столбами), очень похожий на колокол, был вмурован в круглое основание, поверхность которого иногда шла наклонно к жернову, образуя таким образом вместилище, куда сыпалась из-под жернова мука. Еще чаще на этом основании вокруг ставили сплошную деревянную ограду: по-

лучался своеобразный закром для муки. На мету надевали верхний движущийся жернов, имевший форму двух усеченных конусов, соединенных вершинами. По внешнему виду жернов этот напоминает юбку с корсажем, перехваченную по талии поясом. Если бы «юбка» плотно обхватывала нижний жернов, то никакое вращательное движение не было бы возможно; следовало насадить верхний жернов так, чтоб он был на весу. Приспособление для этого придумали простое и остроумное: в вершину меты вделывался толстый железный стержень, а в верхний жернов как раз в середине, "на талии", вставляли круглую шайбу с пятью отверстиями, в среднее, самое большое, входил стержень меты, и верхний жернов повисал над нижним; между обоими оказывался зазор, более или менее узкий. Зерно всыпали в «корсаж», служивший большой воронкой, и оно постепенно стекало сквозь четыре отверстия шайбы в зазор и перемалывалось от трения «юбки» об мету. Чтобы впрячь в мельницу животное, на верхний жернов (на "корсаж") надевали раму; на «талии» верхнего жернова с

двух сторон пробивали четырехугольные отверстия, вставляли в них крепкие рукояти и продольными брусками или железными полосами связывали их с длинной поперечиной, которую надевали на стержень, вделанный в мету и выдававшийся над «корсажем». Мельниц при пекарне бывало три-четыре, так как мука требовалась разного размола, а каждая мельница молола муку только одного сорта. В ветряной мельнице разный размол — более мелкий и более крупный — получается в зависимости от расстояния между верхним и нижним жерновами, причем верхний можно и приподнять, и присадить ближе. В итальянской мельнице качество размола тоже зависело от ширины зазора, т. е. от расстояния между «юбкой» и метой, но изменить эту ширину было невозможно, так как она определялась размером шайбы, вставленной в «талию» верхнего жернова, а диаметр шайбы зависел в свою очередь от диаметра этой «талии». А так как вытесанный однажды верхний жернов нельзя было ни сузить, ни расширить в «талии», то и приходилось обзаводиться несколькими мельницами.

О плане и оборудовании античной пекарни рассказали также главным образом помпейские раскопки, но многое добавили рельефы на памятниках и саркофагах, изображающие жизнь пекарни и пекарей за работой.

Кроме помещения, отведенного под мельницы, в пекарне находились: хлебная печь, комната, где стояли «машина» для вымешиванья теста и большой стол, на котором это тесто раскатывали, и кладовка, куда складывали хлеба, вынутые из печки. Обычно с пекарней соединялась и хлебная лавка.

Хлебная печь бывала разного вида: на одном рельефе она похожа на нашу старую голландку, только с широким полукруглым устьем, через которое сажают хлеба; на другом — это нечто вроде шатра, поставленного на широком круглом основании, часть которого выдается вперед, образуя как бы шесток, куда выходит полукружие устья. Печь, обнаруженная в Помпеях, напоминает нашу русскую деревенскую печь. Над кирпичным подом выкладывали полукруглый свод, под которым выводили закрытую четырехуголь-

ную камеру, хорошо сохранявшую жар. Устье печи закрывали железной заслонкой, смотрело же оно, как и в нашей печи, на шесток. Печь ставили так, чтобы она одной стороной выходила в комнату, где замешивали и формовали хлеб, а другой — в хлебную кладовку. В боковых стенках шестка проделаны были оконца: в одно подавали хлеба для посадки в печь, через другое пекарь передавал вынутые хлеба в кладовую, где их раскладывали по полкам.

В небольших пекарнях хлеб месили руками, но в более крупных имелись особые «машины» для вымешивания теста. Устроены они были очень просто: в цилиндрическую кадку около метра высотой вставлен вращающийся столб с тремя лопастями. В стенках кадки на разной высоте с противоположных сторон проделано два узких и глубоких отверстия, куда вставлены крепкие палочки. К столбу приделана вверху рукоятка, рычаг, с помощью которого столб приводят в движение люди. В больших пекарнях эту работу выполнял осел или мул. Лопастями, вращаясь, вымешивали муку, а палочки равномерно сбрасыва-

ли налипавшие на них комья. Вымешанное тесто вынимали, раскатывали на длинном столе, придавая кускам теста своеобразную форму круглой ковриги, состоявшей из двух частей; на плоском лепешкообразном исподе лежала, словно на подносе, верхняя половина, которую пекарь перед посадкой в печь делил на четыре части,¹¹ проводя пальцем две глубокие, крестообразно пересекавшиеся борозды. Эти части — их так и называли «четвертями» — легко отламывались: столовых ножей за обедом не полагалось. Иногда хлеб выпекали в виде небольших продолговатых булочек, вроде наших саяк. Сажали хлеба в печь на деревянной лопате, совершенно похожей на наши старые деревенские хлебные лопаты.

В древней Италии хлеб пекли только из пшеничной муки; ржи итальянцы не сеяли, знали о ней больше по слухам и считали ржаной хлеб вредным. Колумелла советовал в некоторых слу-

¹¹Случалось, что ковригу делили не на 4, а на 8–9 и даже 10 частей. Такие хлеба изображены на одной помпейской фреске.

чаях печь хлеб для рабов из смеси пшеничной муки с ячневой; в Кампании, где сеяли много проса, пекли хлеб и из просяной муки; Плиний очень его хвалил. Пшеничная мука была разных сортов, и соответственно разных сортов был и выпекаемый хлеб. Первосортный хлеб из лучшей муки, которую давала мягкая пшеница, подавали за столом у богатых людей; сельский люд и беднота ели хлеб из муки с отрубями: такая мука давала большой припек и печь из нее хлеб было выгодно.

Богатые люди держали своих пекарей; прихотливый избалованный вкус требовал особых сортов хлеба, которые не всегда можно было найти в городских пекарнях. У Флакка Тория, правителя Вифинии при Августе, был пекарь Митридат, вывезенный им из М. Азии. В колумбарии Статилиев сохранилось несколько надписей с именами рабов, которые были пекарями. При императорском доме состояло, конечно, множество пекарей; так же, как и врачи, они были разбиты на десятки — декурии; некий Примигений распорядился сообщить в своей надгробной надписи,

что он был отпущенником императора Клавдия, пекарем и декурионом пекарей у его дочери Антонии. Во главе всех дворцовых пекарей был поставлен особый "управитель пекарями"; надпись упоминает в этой роли Телесфора, отпущенника Августа. Императорский раб Автомат был контролером: проверял качество хлеба и его вес. Он умер 29 лет и был, по уверению надписи, "горячо любим всеми от раннего возраста и до конца дней своих": должность Автомата принадлежала, видимо, к таким, которые давали возможность насолить людям, и человек, не делавший этого, оставил по себе благодарную память.

Рабы-пекари, выпущенные на свободу, шли обычно работать к какому-нибудь хлебнику, а если удавалось обзавестись деньгами, то открывали и собственную пекарню. Один из таких удачников, Ноний Зеф в Остии, велел изобразить оборудование пекарни на большом мраморном саркофаге, который он заранее соорудил для себя и своей жены; другой, Марк Вергилий Эврисак, живший в конце I в. до н. э., поставил себе в Риме у Эсквилинских Ворот огромный памят-

ник, настоящую трехъярусную башню. Нижний ярус состоит из столбов; стены второго пробыты круглыми углублениями, которые, по мнению некоторых археологов, символически изображают модии, хлебную меру, как столбы нижнего — бочки с мукой; на третьем изображено приготовление хлеба на разных его стадиях: ослы работают на двух мельницах, работники у стола сеют муку, хозяин или какое-то лицо, заинтересованное в деле выпечки хлеба, берет пробу муки. Знакомую уже нам машину для вымешивания теста возвращает осел; погонщик следит и за тем, хорошо ли тесто вымешано. На двух больших столах тесто раскатывают и формируют; у каждого занято по четыре работника. К одному столу подошел хозяин или его помощник, он дает какие-то указания пекарям; все обернулись к нему и внимательно слушают. Около хлебной печи стоит рабочий и сажает хлебы. И, наконец, третий рельеф: в высоких доверху наполненных плетенках несут к весам хлеб; его взвешивают и принимают эдилы. И тут придется сказать несколько слов о снабжении Рима хлебом.

Бесперебойное снабжение Рима продовольствием, в первую очередь зерном, было постоянной заботой правительства и при республике, и при империи. Обеспечить население хлебом — значило при республике собрать себе голоса на выборах, при империи — сохранить в столице спокойствие и при обеих формах правления — приобрести народную любовь и благодарность. При республике снабжением города ведали особые должностные лица — эдилы: они заботились о заготовках зерна, проверяли его наличие у хлебников и штрафовали за сокрытие хлебных запасов, следили за качеством хлеба и его правильным весом; если поступало много хлеба (в 195 г. до н. э., например, сицилийцы прислали в Рим в подарок миллион модиев пшеницы), они раздавали зерно народу по очень низкой цене. В 58 г. до н. э. Клодий, самый даровитый и бесстрашный из демагогов конца республики, внес закон о даровой раздаче хлеба нуждающимся. Цезарь, вернувшись в Рим после окончательной победы над своими врагами-республиканцами (46 г. до н. э.), застал в Риме

320 тыс. человек, получавших хлеб даром. Он сократил это число до 150 тыс. Август увеличил его до 200 тыс., и число это оставалось почти неизменным до конца империи. Чтобы получать даровой хлеб, надо было быть: бедняком, полноправным римским гражданином и иметь постоянное местожительство в Риме. Списки таких лиц были составлены; каждому из них вручалась, в удостоверение его права, особая марка, и предъявитель ее получал ежемесячно в определенный день и в определенном месте пять модиев зерна, которые в мешке и уносил с собой. Но что с ним было делать? Даже если посадить себя и семью на одни оладьи и блинчики, которые можно поджарить на жаровне, то и для них нужна мука. Без мельницы не обойтись, а раз уж пришел на мельницу, то заодно можно и договориться с хозяином-пекарем, чтобы он в обмен на муку выдавал печеный хлеб. На каких условиях заключался такой договор, имел ли он стандартную форму или менялся от раза к разу, мы не знаем. И тут в памяти встает надпись на памятнике Эврисака, в которой он называет себя "пе-

карем и поставщиком". Не поставлял ли он хлеб именно тем, кто приносил ему даровое зерно? Не потому ли его предприятие находилось под особым надзором официальных лиц, проверявших и качество муки, и вес выпеченных хлебов?

Эврисак языком рельефов рассказал о своей профессии, постепенно развернув перед зрителем историю хлебной ковриги; Зеф изобразил на своем саркофаге мельницу с ослом, модий, сито, хлебные корзины. Эти люди, греки происхождением, потомки рабов, любят свое дело и гордятся им. Они знают себе цену. Еще бы! Правительство снабжает людей зерном, но без них, пекарей, хлеба не будет. Они — ближайшие, непосредственные помощники самого правительства, и Эврисак это понимает, называя себя подручным магистрата. От пекарей зависит, будет у людей хороший хлеб или нет. А хороший хлеб для бедняка — это все. Понятно, почему во время предвыборной агитации в Помпеях Юлия Полибия рекомендуют в эдилы потому, что он "дает хороший хлеб". Не всегда эдилы заботились о том, чтобы "дать хороший хлеб". Один из гостей Трамальхиона в

романе Пеперония горестно жалуется: "Пропади эти эдилы пропадом; снюхались ведь с пекарями. Известно, рука руку моет. Бедный народ страдает, а у этих толстопузых всегда сатурналии. Эх, были бы сейчас те соколы, которых я застал, когда приехал из Азии... Купишь, бывало, хлеба на грош, и вдвоем не съесть, а теперь, пожалуй, у иного вола глаза побольше". Жалобы эти открывают нам закулисную сторону жизни италийского городка. Повышать цены на хлеб было запрещено, но выпекать буханки меньше положенного веса при попустительстве эдилов, "снюхавшихся с пекарями", было вполне возможно, и ворчи не ворчи, приходилось платить такие же деньги за "хлебцы меньше воловьего глаза". Пекари — сила; среди них не только отпущенники; в Помпеях хозяевами пекарен были люди, принадлежавшие к старинной помпейской знати и к верхам муниципального мира. И если они не вели своего дела честно и заботливо, то где было найти на них управу бедному люду?

Кто же работал в пекарнях, кто "делал хлеб" в самом прямом смысле этого слова? О них-то

мы ничего и не знаем: надписи дают одни имена, никаких биографических подробностей. Апулей, приведший своего героя, превращенного в осла, в конце концов на мельницу, оставил страшное описание людей и животных, там работавших: "Боже мой! Что за люди! Вся кожа у них была изукрашена синяками; изодранные плащики из лоскутьев не прикрывали их избитой спины, а только бросали на нее тень; у некоторых коротенькая одежонка доходила лишь до паха; у всех туники были такие, что через дыры сквозило тело; на лбах клейма, полголовы обрито, ноги в кандалах; землисто-бледные, полуослепшие от жара и дыма, которые туманом стояли в темном помещении, разъедая их веки; серые от мучной пыли, которой они были осыпаны на подобие кулачных бойцов, посыпающих себя песком, когда они приступают к бою. А что сказать и как сказать мне о животных, моих товарищах! Какие это были старые мулы и обессилевшие мерины! Опустив головы в ясли, они уничтожали горы мякины; шеи в гнойных болячках сотрясались от одышки, вялые ноздри расширялись от

постоянных приступов кашля, грудь в ранах от постоянно натирающей веревочной привязи; ребра, почти вылезшие из кожи от постоянного битья; копыта, чудовищно расплющившиеся от постоянного кружения; шкура, шершавая от худобы и застарелой чесотки".

В описании этом есть, конечно, доля риторики; такому блестящему питомцу ее, как Апулей, без нее было не обойтись. Но не надо и литературных прикрас, чтобы понять, какой тяжелой была жизнь пекаря. Тяжелую физическую работу делали еще тяжелее условия, в которых приходилось работать: жара от раскаленной печи, мучная пыль, спешка, отсутствие сна. Работали и по ночам. В древней Италии вставали рано; дети, на заре отправлявшиеся в школу, по дороге покупали уже свежие лепешки, и Марциал жаловался, что ночью ему не дают спать пекари. Работа шла круглый год, без отдыха, без праздников: хлеб людям нужен ежедневно. Единственным праздником пекарей, когда отдыхали и люди, и животные, был праздник Весты, покровительницы очага. Праздновали его в июне. Вот увенчали ослов;

гирляндой с них хлебцы свисают; Мельниц стоят жернова, убранны, в блеске венков, — скажет Овидий, описывая этот праздник. Он изображен на одной помпейской фреске в том идеализированном виде, в каком принято было тогда изображать ремесленников и их труд: вместо измученных людей — весело бражничающие амуры; вместо заморенной скотины — сытые холеные ослы.

Глава седьмая. СУКНОВАЛ

Главным материалом, из которого изготавливалась в древней Италии одежда, была шерсть. Из шерсти делали туники-рубашки, которые надевали прямо на тело, тогу — национальную римскую одежду, которую не смели носить лишенные гражданских прав; плащи всех видов и всякого покроя, от тяжелых темных, солдатских и дорожных, до легких разноцветных, которые надевали поверх белоснежных тог, чтобы предохранить их от пыли и грязи. Шерстяную одежду носила вся Италия, от сенатора до раба. Шерсть гигроскопична, она не позволяет телу охлаждаться, предохраняет от простуды: материал был выбран на основе опыта многих поколений. Италия была богата превосходной шерстью; поголовье ее овецких стад исчислялось в миллионах, и овцы были разных пород. Были овцы, превосходная тонкая шерсть которых могла поспорить с лучшими сортами греческой шерсти (а греческая шерсть славилась в древности по всему миру). Страбон, путешествовавший по Италии во время Августа, писал, что овцы, которых разводили в долине р. По, около Пармы и Мутины (нынешняя Модена),

давали мягкую, самую красивую шерсть; грубая шерсть из Лигурии и от инсубров (галльское племя, жившее в округе нынешнего Милана) давала ткань, в которую одевалась большая часть рабов в Италии; из шерсти патавийских овец (Патавий — нынешняя Падуя) делали дорогие ковры и гавсапы — особые косматые ткани с ворсом на обеих сторонах материи или только на одной. Очень хороша была шерсть овец апулийской породы.

Пряжа и ткань были женским делом, и в дни седой старины не только бедные крестьяне, но и богатые сенаторы и прославленные полководцы ходили в домодельных туниках и тогах. Лукреция поздней ночью "занималась шерстью", когда ее муж прискакал из-под Ардеи проверить, как проводит время одинокая жена. Катон не представлял себе усадьбы без ткацкого станка. Варрон знал имения с большими ткацкими мастерскими. Еще в конце республики в старозаветных семьях в атрии стоял ткацкий станок, и некоторые эпитафии воздают женщине как высшую похвалу то, что она "сидела дома и обрабатывала шерсть". Август носил только одежду, изготовленную ру-

ками сестры, жены или дочери. В хозяйстве и Статилиев, и Ливии, жены Августа, и вообще в императорском хозяйстве прядением занято было по крайней мере несколько человек, потому что надписи упоминают должность "ответшителя шерсти", т. е. человека, который отвечивал шерсть, раздаваемую на «уроки» пряхам, и надзирал за их работой, а также и самих прях, ткачей и ткачих. Судя по нескольким надписям из Рима, существовали и частные прядильни, но о размерах их, так же как и об организации, мы ничего не знаем. То же и относительно ткацких мастерских. И Марциал, и Ювенал упоминают ткачей в Риме; в Риме были, конечно, ткацкие мастерские, но ничего о них до нас не дошло.

О сукновалах известно нам больше. В Помпеях и в Поле (Далмация) были раскопаны сукновальни; найдены были фрески, объясняющие работу сукновалов (по-латыни их звали фуллонами), сохранились кое-какие надписи.

Профессия сукновалов была двойной: они валяли сукно, а также стирали и чинили грязную шерстяную одежду. Прачками и штопальщиками

они были превосходными: старая вещь выходила из их рук новешенькой. И процесс валянья отличался от мытья только отсутствием некоторых операций.

Сукно в древности изготовлялось таким же способом, как и теперь; разница, конечно, в масштабах производства и в том, что теперь работают машины. Шерстяная ткань становится сукном, потому что поверхность овечьей шерсти покрыта чешуйками или зубчиками, которые придают ей цепкость и способность, особенно под влиянием влаги, тепла и механических сотрясений, плотно сцепляться с соседними волосками, или, как говорят, «сваливаться». Первой работой италийского фуллона было свалить шерстяную ткань. В XIX в. эту работу исполняли особые сукновальные машины, в которых шерстяная пропитанная теплой жидкостью ткань пропускалась между двумя вращающимися цилиндрами и протискивалась в узкий желоб с крышкой, приваленной грузом. Ткань продвигалась с трудом, сильно сжималась, терлась о стенки желоба и о крышку и таким образом сваливалась. В старых

машинах ткань сваливал своими ударами пест особого устройства. У италийского сукновала не было ни машин, ни песта; в его распоряжении были только собственные ноги. «Пляска» сукновалов. (Фреска). А. Мау. Pompei. Leipzig, 1908, fig. 242.

В 1825 г. на одной из самых аристократических улиц Помпей, которая теперь называется улицей Меркурия, раскопали дом, где находилась большая мастерская фуллонов. Уцелело кое-что из оборудования и сохранились плохие в художественном отношении и драгоценные по содержанию фрески — история штуки сукна, изображенная во всех стадиях изготовления.

Шерстяную материю, которую требовалось свалить, клали в чан с теплой водой и теми веществами, с помощью которых удаляли жир, оставшийся в шерсти после недостаточной промывки. Чаны стояли в небольших загородках, отделенных одна от другой невысокими стенками. Сукновалы влезали в эти чаны и начинали, опираясь руками о стенки перегородок, "танец фуллонов": равномерно подпрыгивали. На фреске один

из рабочих как раз «танцует»; трое других (пожилой лысый человек и двое юношей), вытащив материю, держат ее на весу, чтобы стекала вода; может быть, они уже окончили свой «танец», а может быть, решили только передохнуть.¹²

Мыла древняя Италия не знала. То снадобье, которое Плиний называет «мылом» и которое приготавливалось из нутряного жира и золы ("галльское изобретение"), точно так же, как "шарики из Маттиака" (город в окрестности нынешнего Висбадена), никогда не употреблялись для стирки; ими мыли волосы, чтобы окрасить их в рыжеватый цвет, вошедший в моду у современниц Плиния и Марциала. Фуллоны клали в свои чаны соду, а еще чаще пользовались мочой. Моча, постоявшая одну-две недели, образует в соединении с жиром жидкое аммонияльное мыло, хорошо отмывающее жировые пятна и вообще всякую грязь. Фуллоны расставляли на

¹²На этой фреске один из юношей гораздо выше своих товарищей. По-видимому, художник хотел показать, как высоко рабочий подпрыгивает.

улицах большие посудины для прохожих; Марциал упоминает их в одной очень злой эпиграмме. В Помпеях в районе новых раскопок, недалеко от дома хозяина одной сукновальни, нашли большую винную амфору с отбитым горлышком, вкопанную в землю. Это реальный комментарий к словам Марциала: "... старая посуда скупого фуллона".

Естественно, что ткань, мытую в моче, требовалось усиленно прополоскать в чистой воде. В сукновальне всегда имелись большие ванны, куда фуллоны, «потанцевав» в своих чанах, и переносили материю и где они ее усердно и не один раз отполаскивали, многократно меняя воду. Затем ее вынимали, раскладывали на больших столах и начинали бить вальками — операция, одинаково способствовавшая и сваливанию, и удалению грязи, — после чего развешивали для просушки на веревках или жердях. Сукновалам дано было законом разрешение перекидывать эти веревки даже через улицу.

После того как материя просохнет, приступали к работе, изображенной на другой фреске, —

к ворсованию. Цель ворсования — образовать на поверхности плотно сваленной материи слой торчащих волокон и сделать таким образом эту поверхность пушистой и мягкой. Теперь поверхность ткани надирают ворсовальным барабаном, к ободьям которого прикреплены узкие рамки с насаженными на них шишками ворсянки. В древней Италии сукно надирали вручную или шкуркой ежа — "без его игл ни к чему была бы для людей мягкая овечья шерсть", — замечает Плиний, — или шишками чертополоха, из которых делали особые ворсильные щетки. Такую щетку держит в руках и чистит ее палочкой женщина на фреске из той же серии. Возможно, были в ходу и железные скребницы. Шерстяные очески шли на набивку тюфяков; так как оческов этих у фуллонов всегда оказывалось в изобилии, то, возможно, они занимались и изготовлением матрасов.

На следующей фреске изображено как раз ворсование. С подвешенной к потолку жерди свисает ткань, которую шкуркой ежа надирает молодой работник в короткой тунике. Мимо проходит

другой с легкой плетеной клеткой на плечах, на-поминающей юрту, и с котелком в руках такой формы, какие и поныне употребляются в Италии для углей. На эту клетку натягивали материю, вымытую и наворсованную, если только она не была крашеной, а под клеткой ставили котелок с зажженной серой. Серные пары обладают свойством отбеливать ткань.

После окуриванья серой материю «крахмалили», т. е. натирали ее особого сорта глиной, которая придавала блеск и предохраняла от загрязнения. Такой глины было несколько сортов: сардинской можно было натирать только белые ткани, для пестрых годилась умбрийская.¹³ Теперь материю, чтобы она не смялась, следовало положить под пресс; он тоже изображен на фреске. Между двумя крепкими столбами, соединенными сверху перекладиной, неподвижно укреплена одна доска; над ней находится несколько других, ко-

¹³Была еще особая "стиральная глина", которую клали при мойке и которая вбирала в себя жир. Ее привозили с маленького греческого островка Кимола.

торые можно поднимать и опускать. Между ними и укладывают ткани, сжимая доски двумя винтовыми тисками. Такой пресс в значительной степени заменял современный утюг.

В Риме сохранилось несколько надписей, упоминающих фуллонов. Интересна одна из них, сообщающая о том, что коллегия фуллонов (ремесленники в Риме, по всей Италии и в римских провинциях создавали особые, ремесленные объединения, называвшиеся коллегиями) доказала свое право бесплатно пользоваться водой из какого-то водоема — право, которое у нее оспаривали некие недоброжелатели. Дело происходило в середине III в. н. э. Из остальных римских надписей мы только узнаем, что в дворцовом хозяйстве, так же как и в хозяйстве богатых людей, были свои фуллоны. Чтобы ближе познакомиться с этими людьми, надо отправиться в Помпеи. Очень немного, но все-таки кое-что узнаем мы там и о хозяевах сукновален, и об их рабочих.

Среди хозяев первое место занимают отпущенники. Одна сукновальня принадлежала отпущеннику Стефану; городскую сукновальню (сле-

дует обратить внимание, что сукновальни, как и бани, были «коммунальными» учреждениями) одно время арендовал богатый банкир, тоже отпущенник, Цецилий Юкунд. В последние годы перед гибелью города ею распоряжался Везоний Прим, судя по собственному его имени (Прим), — отпущенник. Он принимал горячее участие в предвыборных кампаниях; он рекомендует в дуумвиры Цейя Секунда и Гавия Руфа, в эдилы — Гельвия Сабина. Перед нами яркий пример человека, который, еще не став юридически гражданином, чувствует себя в этом приютившем его городе своим, совсем своим: он живет его интересами, он кровно заинтересован в его повседневной судьбе; для него важно, кто будет заправлять городскими делами. Еще интереснее другое обстоятельство. Мы знаем, с каким презрением относились свободные римляне ко всякой ремесленной деятельности. Цицерон в своей книге "Об обязанностях", которая должна была служить жизненным руководством для его сына, писал: "Все ремесленники проводят жизнь свою, занимаясь грязным делом; в мастерской не мо-

жет возникнуть ничего благородного".

Прим отнюдь не стесняется своего ремесла; во всеуслышание объявляет он себя фуллоном. И простые рабочие, работники сукновален, отнюдь не считают своего занятия грязным делом. Сохранилось несколько надписей какого-то Луция Квинтилия Кресцента, простого фуллона, нацарапавшего их гвоздем на колоннах дома, где он, вероятно, жил. В этих надписях он посылает привет всем жителям Помпей и окрестных городов, а также всем собратьям по ремеслу: "Кресцент шлет привет фуллонам здешним и другим, где бы они ни находились". Этот человек гордился своим ремеслом и своей принадлежностью к широко раскинутому братству сукновалов. На "новых раскопках" (так называются части города, которые стали раскапывать после первой мировой войны) нашли дом некоего Фабия, владельца сукновальни. В одной из надписей, покрывающих стены этого Дома, автор заявляет, что знаменитой Энеиде (на двух пилястрах, обрамляющих вход в жилище Фабия, изображено начало странствий Энея: Эней с отцом Анхизом и сыном

Асканием бегут из Трои) он предпочитает гимн сукновалам: "сукновалов воспеваю и сову" (сова — птица Минервы, покровительницы фуллонов). Стоит остановиться на этой надписи. Автор ее шутит — пусть! И все-таки он осмеливается поставить рядом поэму, прославляющую божественных зачинателей мировой империи, и песню в честь парней, стирающих грязную одежду, замазанных мочой и глиной, простых рабочих парней! Это сделать мог только человек, испытывающий гордость рабочего, который знает цену своей работе и своему ремеслу. И тут мы подходим к очень любопытному явлению. Обычно столица снабжает провинцию модами и идеями; в древней Италии было наоборот: новые мысли и новые чувства появляются в провинциальных городах и городках; новое мировоззрение начинает пробиваться и складываться именно здесь. Мы говорили уже, что отпущенник перестает ощущать себя существом низшего сорта как раз в этих городках; именно здесь он начинает чувствовать себя не только своим среди своих, но и гражданином среди граждан. Он принимает уча-

стие в общественной жизни, он помогает городу, поправляет обветшавшие здания, замащивает улицы, устраивает для сограждан гладиаторские игры или даровое мытье в банях. Весь город видит, что средства для этого доставила работа. Отпущенник не бросил ремесла, которым занимался, будучи рабом. Став свободным человеком, он расширил свою деятельность, обзавелся собственной мастерской; разбогател. Богатство принесла работа — работник чувствует свое достоинство и силу, и постепенно меняется отношение к работе и у окружающих.

Глава восьмая.

**ЦЕНТУРИОН ВРЕМЕН
РЕСПУБЛИКИ**

Одной из самых красочных фигур в солдатской среде республиканского Рима был центурион. К сожалению, источники, из которых можно узнать о том, что он собой представлял, какова была его роль в легионе и как протекала его служба, для этого периода отнюдь не обильны. Больше всего узнаем мы о центурионах из записок Цезаря о галльской и о гражданской войнах; некоторые дополнения дают Ливий и Саллюстий. Вегетий жил в эпоху поздней империи, но книга его, по собственному его признанию, составлена по работам старых писателей, трактовавших о военном деле.

Для характеристики центуриона времен империи мы располагаем богатейшим, хотя и однообразным источником сведений; их дают надписи, на основании которых можно, до известной степени, проследить карьеру центуриона, заглянуть в его семейную жизнь и воссоздать, хотя и в малой степени, его облик: религиозные воззрения, чувства, питаемые к императорскому дому, взаимоотношения с начальством, поведение на войне.

Было бы, однако, ошибкой пользоваться всем

этим материалом, стирая хронологические рамки, в которые он заключен. Центурион императорского времени и центурион римской республики — лица очень разные. Дело не только в разнице психологии, хотя, конечно, была и она. Центурион при империи — фигура довольно крупная: он может дослужиться до офицерских чинов, ему поручают управление целыми областями, пусть и маловажными, его отправляют послом к иностранным дворам. Центурион римской республики — это "маленький человек", и его надлежит рассматривать отдельно, особо от центурионов империи.

Напомним здесь некоторые особенности в устройстве римской армии республиканского времени. Армия эта не была постоянной: войско набиралось в случае надобности, а миновала нужда, его распускали. Ни о каком правильном продвижении по служебной лестнице вроде того, какое мы видим в современной армии, нет и речи. Фактически постоянным войско стало у Цезаря; как постоянное оно было официально организовано Августом. Легион республиканского време-

ни состоял из 5–6 тыс. человек. Он делился на десять когорт; в когорте было три манипулы, а в манипуле — две центурии; непосредственным начальником центурии и был центурион. В каждой манипуле имелось, следовательно, два центуриона — старший и младший. Центурия во времена Полибия (II в. до н. э.) состояла из *hastati* (молодые солдаты), *principes* (люди зрелого возраста) и *pilani* (или *triarii*: пожилые солдаты); уже столетие спустя различия эти совершенно исчезли, и названия *pilus*, *princeps* и *hastatus* сохранились только для определения «звания» центуриона; самым младшим из шестидесяти центурионов легиона был *hastatus posterior*: командир шестой центурии десятой когорты; самым старшим — центурион первой центурии первой когорты: *primus pilus*, или *primipilus* (в одно слово). Чтобы стать примипилом, центурион должен был передвигаться от шестой центурии к первой внутри каждой когорты, пока, наконец, не доходил до первой когорты и там от *hastatus posterior* поднимался до *primus pilus*. В республиканской армии «звание», полученное центурионом, за ним

не закреплялось; призванный вновь, он мог быть сразу и повышен, и понижен; центурионы, которых призывали сверхсрочно на войну с Персеем, просили именно о том, чтобы их "не понизили в звании"; Лигустин (о нем сейчас будет речь) подал им пример воинской дисциплины, заявив, что дело военных трибунов присудить ему «звание», достойным которого они его сочтут. Продвижение шло иногда медленно, иногда — стремительно: Цезарь, например, перевел одного из своих центурионов из восьмой когорты сразу в первую и сделал его примипилом. Никаких материальных выгод повышение в «звании» не приносило: центурионы всех «званий» получали одинаковое жалование, но так как всякое повышение было наградой за доблесть, то его ценили и его добивались.

У Ливия имеется рассказ одного старого центуриона об его службе: нет основания сомневаться в подлинности, пусть не слов, но самой сущности этого рассказа. Дело происходит в 171 г. до н. э. во времена войны с Персеем, Спурий Лигустин, пятидесятилетний старик, "родом из саби-

нян", прослуживший 22 года на военной службе и призванный вновь, повествует народному собранию о своей жизни. "Отец оставил мне югер земли и маленькую хижинку, в которой я родился и был воспитан. Как только я вошел в возраст, отец женил меня на двоюродной сестре, которая принесла с собой только звание свободной женщины, целомудрие и плодовитость... У нас родилось шесть сыновей и две дочери... В том войске, которое было отправлено в Македонию, я два года сражался против царя Филиппа простым солдатом; на третий год Т. Фламинин за мою храбрость сделал меня младшим центурионом десятой когорты. Когда Филипп и македоняне были разбиты, нас вернули в Италию и распустили, но я тут же отправился добровольцем в Испанию с консулом М. Порцием... Он сделал меня третьим центурионом первой когорты... В третий раз я пошел опять добровольцем в то войско, которое было послано против этолийцев и царя Антиоха; Маний Ацилий сделал меня вторым центурионом первой когорты. Я дважды потом воевал в Испании; четыре раза в течение

немногих лет был примипилом. Тридцать четыре раза награждали меня полководцы за храбрость, и получил я шесть гражданских венков".

Рассказ этот, если даже допустить в нем некоторую стилизацию, чрезвычайно интересен: он совершенно правдиво рисует жизненный путь римского центуриона времен республики и до некоторой степени дает тип его. Этот центурион — крестьянин, и крестьянин-бедняк; он проводит на военной службе чуть не половину жизни и остается только центурионом. Его доблесть признана таким придирчивым начальником, как Катон; его голову венчает шесть "гражданских венков", — а солдата награждали ими за спасение сограждан — тридцать четыре воинские награды вручены ему его полководцами, и тем не менее дальше старшего центуриона он продвигнуться по службе не может; офицером в римской армии времен республики становится только человек сенаторского или всаднического сословия. Мы знаем ряд доблестных центурионов того времени, и ни одного, который дослужился бы до военного трибуна или префекта, т. е. до офи-

церского звания. Лигустин не уходит с военной службы и остается служить добровольцем потому, что десяти ртам с одного югера не прокормиться, а с каждой победоносной войны солдат, а тем более центурион, возвращался обогащенным. У Ливия мы найдем неоднократные упоминания о денежных наградах, выдаваемых по окончании кампании солдатам; центурион получал обычно вдвое, а то и втрое больше простого солдата. К этим официальным наградам следует прибавить еще добычу, которую солдату удавалось присвоить при взятии неприятельских городов, при всяких налетах и наездах, в которых он участвовал в качестве фуражира или разведчика, а то и просто совершал на свой страх и риск в расчете поживиться. На войну с Персеем многие шли добровольцами: "они видели, что те, кто служил в первую Македонскую войну или воевал против Антиоха в Азии, обогатились". Война оказывалась опасным, но выгодным предприятием. Реформа Мария, открывшая доступ в легионы людям без всякого состояния, удовлетворяла, по-видимому, желанию широких масс и была,

судя по имущественному положению Лигустина, только официальным признанием уже существовавшего порядка вещей.

Источники наши дают довольно много для характеристики центуриона как военного; центурионом как человеком в Риме интересовались весьма мало, и при воссоздании его облика "по словечкам, по намекам, по мелочам" на полноту и четкость портрета рассчитывать не приходится.

Мы видели уже, что центурион республиканского времени — это бедняк, который от военной службы ждет добычи и обогащения. Ряд лет жил он бедно и трудно; зря денег он не швыряет и до всякого приобретения жаден. Жалование центурионам в год полагалось хорошее: 240 динариев; Цезарь с началом гражданской войны увеличил его почти вдвое: его центурионы получали годового содержания 450 динариев, но главным источником обогащения была для них сама война — военная добыча и награды, выдаваемые полководцами (Цезарь, например, одарил Сцеву, одного из своих центурионов, сразу двумя тысячами сестреций, а в конце галльской кампании

пообещал выдать каждому центуриону по тысяче сестерций). Один военачальник, обращаясь к солдатам, рекомендовал им "спешить за добычей, за славой"; характерно, что на первом месте поставлена добыча. Город, взятый у неприятеля, часто отдавался солдатам на разграбление. Фабий, центурион 8-го Цезарева легиона, поклявшийся, что никто раньше его не войдет в Горговию, полез на ее неприступные стены не потому только, что гнался за славой; жирно поживившись в Аварике, он рассчитывал на такую же поживу в Горговии. Центурионам удавалось скопить хорошую толику. Источники наши помнят Лусция, центуриона Суллы, нажившего миллионное состояние; знаменитый юрист Атей Капитон был внуком Суллового центуриона, который оставил своему сыну, отцу Атея, средства, позволившие тому войти в сенаторское сословие. Центурионы знали цену деньгам. Когда Цезарь в начале гражданской войны обратился к своим центурионам с просьбой о займе, то сделал он это не потому только, что нуждался в деньгах, но и в расчете "связать души центурионов" и отрезать

им путь к переходу на сторону Помпея: они не решились бы расстаться со своим добром, которое собирали, не жалея ни чужой крови, ни собственной.

Жалости у этих людей искать вообще не стоит. Война не воспитывает мягкость нравов, а войны тех времен — и подавно. Абсолютная власть над побежденным давала победителю полный простор для разгула самых жестоких и самых низменных страстей. Трудно назвать римских полководцев, которые действовали бы милостиво. Солдаты не отставали от своих начальников, и центурионы не были исключением из солдатской массы. В беспощадной бойне, которой закончилось взятие Аварика, когда солдаты крошили, не разбирая, детей, женщин, стариков — всех, кто попадался на глаза и подвертывался под руку, центурионы, конечно, не оставались только зрителями. Зверский приказ Цезаря "отрубить руки всем защитникам Укселодуна" был, разумеется, приведен в исполнение под надзором центурионов, а может быть, и при их участии. Одним из самых кровожадных палачей Суллы был уже упо-

минавшийся нами Лусций. К чести боевых центурионов Цезаря следует заметить, что убийство не в бою их коробило. Когда центуриону было поручено во время, казалось бы, дружественного свидания нанести предательский удар Коммию, одному из самых упорных и увертливых врагов Цезаря, то рука убийцы дрогнула, "может быть, потому, — замечает автор, — что его взволновало непривычное для него дело".

Эти жестокие и корыстолюбивые люди были мелочно честолюбивы и завистливы. Соперничество Тита Пулиона и Луция Ворена долго развлекало галльские легионы Цезаря. Центуриону не доставало ни образования, ни широты взглядов: его мысли обычно не перелетали за тот ров, которым солдаты обводили свою стоянку. Центурионы I в. до н. э., современники Варрона и Лукреция, Катулла и Цицерона, ничего не знали ни об умственных течениях своего времени, ни о тех культурных ценностях, которые это время создало. Герений, зверски убивший Цицерона, не имел понятия о том, "на что он руку поднимал". В римском образованном обществе пред-

ставление о центурионе как о неотесанном мужлане было ходовым. Цицерон считал необузданный гнев естественным для центуриона; Персий назвал центурионов "козлиным отродьем"; "это относится к их варварским нравам", — поясняет схолиаст. Из дальнейших слов поэта явствует, что они презирают умственную культуру, смеются над философией и вполне удовлетворены тем, что они знают и что им понятно. Они не задумывались над современными событиями и не подозревали, что участвуют в событиях, которые не только передвигали границы государств, но и меняли лицо тогдашнего мира. Центурион старого времени, которого рисует Полибий и который представлен у Ливия Лигустином, предстает перед нами только как верный сын и защитник родной земли. Что думает о политике сената этот самоотверженный солдат? Вероятно, не думает вовсе: его дело сражаться и не забывать во время войны и собственных выгод. Центурионы Цезаря и Помпея настроены именно так: их вовсе не интересовало то, что делается в сенате, на форуме и за кулисами официальной полити-

ки. Они не ломали себе головы над тем, чего хотят их полководцы и почему они воюют друг с другом; у них не было политических убеждений, и они с легкостью переходили от одной стороны к другой. Твердо помнили они одно: наград, повышений, обеспеченности на старости лет они должны ждать только от своего вождя, его держались, пока можно было на него надеяться, а раз эти надежды колебались, его покидали. Те восемь югеров земли, которыми один из полководцев Помпея обещал наградить центурионов, имели для этих крестьянских сердец реальное значение; рассуждения о свободе, о тирании, о лучшей форме государственного устройства их ни в какой степени не трогали.

Эти бессердечные, грубые, невежественные и беспринципные люди не вызывают к себе никакой симпатии. Они и не пользовались ею у своих современников, чуждых военному делу. Снисходительное презрение слышится в словах Цицерона, когда он называет какого-то примипила человеком "в своем роде порядочным". Чтобы понять, чем был центурион и чтобы оценить его по

справедливости, надо видеть его в военной обстановке, на войне и в легионе: там, где было его настоящее место и где он чувствовал себя дома.

Принадлежность центуриона времен республики к бедному простому народу определяла его положение среди солдат. Он всегда выходец из солдатских рядов, свой брат солдатам, их непосредственный начальник, который живет все время с ними и почти так же, как они; он ведет их в бой, учит военному делу, придирается к каждой дырке на тунике и к каждой неначищенной бляхе на поясе, не стесняясь, пускает в ход виноградную лозу, символ своей власти, и, не задумываясь, умирает за своих солдат. Он — посредник между ними и высшим начальством, которое через центурионов передает свои распоряжения и в трудные минуты рассчитывает прежде всего на их помощь. Это костяк римской армии; старые служаки, поседевшие в боях и походах, украшенные орденами и рубцами от ран, они пользуются влиянием в солдатской среде и уважением у высшего командования. Цезарь знал своих центурионов по именам; это были люди, имена которых

стоило запомнить даже Цезарю.

Солдату приходилось обычно годы и годы терять свою солдатскую лямку, прежде чем он получал звание центуриона. Оно не давалось даром или только за выслугу лет: требовались боевые подвиги, хорошее знание военного дела, известная умственная одаренность. Полибий, один из умнейших людей античности, в поисках ответа, почему римляне меньше чем в столетие покорили чуть не весь мир, внимательно изучивший военное дело у римлян, оставил нам идеал центуриона, который был выработан в военных римских кругах того времени, конечно, на основании длительного воинского опыта: "От центуриона они требуют, чтобы он не кидался, очертя голову, туда, где опасно, но умел бы распорядиться, был бы стоек и серьезен, не ввязывался бы не вовремя в бой и не начинал бы его несвоевременно, но умел бы выдерживать натиск одолевающего врага и умирать за родную землю". Если центурионов, образы которых можно разглядеть в скупых заметках наших источников, мерять этой меркой, то окажется, что они под нее более или

менее подходят. В одном, случалось, идеал и действительность не совпадали. Иногда в горячке боя центурион терял обязательную для него рассудительность и превращался из трезвого, расчетливого начальника в бесшабашного удальца, который, не помня себя, шел сам и вел за собой солдат на верную гибель. Фабий полез на страшные стены Горговии, уже не соображая, что его ждет несомненная и бессмысленная смерть. Центурион бывал иногда безрассудным в своей храбрости; безупречно храбрым он был почти всегда. Цезарь, отмечая потери в своих войсках, почти всегда выделяет особо потери в составе центурионов: они неизменно очень велики. Под Диррахием погибло 960 солдат и 32 центуриона; под Фарсалом — 290 солдат и 30 центурионов, т. е. из числа центурионов, положенных на легион, выбыла половина, если не больше, а солдат — 1/25 часть. Старый центурион Крастин, простившийся с Цезарем перед Фарсальской битвой словами "живого или мертвого, но сегодня ты поблагодаришь меня, император", знал, на что он идет, и шел бестрепетно. После сражения при Дирра-

хии Цезарю показали щит центуриона Сцевы: он был пробит в ста двадцати местах. Случай, когда центурион уклонился от участия в бою под предлогом охраны лагеря, прочно засел в памяти римского народа как нечто из ряда вон выходящее.

Личной храбрости, однако, по римским представлениям, для центуриона мало. Лихо рубиться мог и простой солдат, а центурион не был простым солдатом; он начальник: от него требуют, чтобы он "умел распорядиться", умно и трезво расчел, как нанести врагу побольше ущерба, а своим потерпеть при этом поменьше урона. Он должен отдавать себе ясный отчет в боевой обстановке, изменения ее учитывать тут же, пользоваться промахами противника и немедленно устремляться на помощь туда, где это нужно. Он должен быстро соображать, все время быть начеку, принимать решения стремительно и правильно. Растяпа, крепкий задним умом, и легкомысленный глупец, не сумевший ничему научиться за всю свою военную службу, никогда не мог стать центурионом. Цезарь щедро награ-

дил Сцеву и сразу же далеко продвинул его по служебной лестнице не только за безудержную смелость, о которой свидетельствовал его изрешеченный щит: Сцева сумел повести оборону порученного ему укрепления так, что солдаты Помпея не смогли им овладеть. Крастин в битве при Фарсале "оказал величайшую услугу Цезарю" не только тем, что "сражался очень мужественно" и увлек за собой "отборных воинов своей центурии", но и тем, что умело этими воинами командовал. Когда галлы в Новиодуне неожиданно кинулись на маленький римский отряд, застрявший в городе, центурионы стремительно организовали защиту и "собрали всех своих невредимыми". Цезарь, очень осмотрительный во всем, что касалось ведения войны, настолько доверял опыту и воинской сметке своих центурионов, что, не задумываясь, поручил им в одну из самых грозных минут галльской войны, перед битвой с белгами, выбор места для лагеря: задача ответственная, от удачного выполнения которой зависел и успех сражения, и самая жизнь солдат. Центурион в какой-то мере был тактиком и стратегом.

Мы видели, что в римском обществе центурион считался невеждой. Мнение это было совершенно ошибочным. Принадлежность центуриона к бедным слоям населения обуславливала скудость его школьного образования: оно ограничивалось только умением читать, писать и считать; но, кроме школьных знаний, у центуриона были и другие, которым выучила его жизнь, и надо признать, что уроки она давала ему самые разнообразные.

Почти непрерывные войны, которые Рим вел в течение II—I вв. до н. э., познакомили римских солдат чуть ли не со всем тогдашним миром. Лигустин Ливия побывал в Македонии, Греции, Азии и Испании; центурионы Цезаря исходили всю Галлию, побывали за Рейном, повидали Британию, были в Испании, в Африке, на Балканском полуострове. Если все эти страны и не укладывались для них в четкую географическую сетку и в их географической осведомленности не было такой ясности, как у Цезаря, то все же соотношение между этими странами рисовалось для них довольно отчетливо: карту тогдашнего мира

они себе представляли. Входили они в соприкосновение с целым рядом племен и народов; бились с ними как с врагами, водили знакомство, а может, и дружбу как с союзниками и товарищами по оружию. Можно не сомневаться, что их, людей военных, интересовало и вооружение чужого народа, и его приемы войны, и его тактика боя. Центуриону приходилось вместе с солдатами отправляться на фуражировку и ходить в разведку; можно представить себе, во что превращались такие экспедиции во вражеской стране, в Галлии например, когда вся область битуригов превратилась словно в гигантскую раскаленную печь¹⁴ и нужно было в поисках еды людям и лошадям пробираться среди пылающих городов и усадеб, памятуя, что за каждым холмом, за каждой купой деревьев может сидеть засада. Приходилось идти без всяких дорог, петлять, плутать — и надо было все-таки вернуться к своим. Центурион

¹⁴По приказу галльского военачальника Верцингеторикса, поднявшего восстание против римлян, галлы жгли города, деревни, продовольствие.

обязан ориентироваться в местности, куда зачас- тую он попадает впервые, должен уметь найти дорогу по солнцу, по звездам, по ряду примет, в которых следует ему разбираться не хуже лю- бого лесовика и селянина. Он должен распола- гать некоторым запасом астрономических и ме- теорологических наблюдений и сведений. А так как разбивкой лагеря и фортификационными ра- ботами ведал он, то ему надлежало знать толк и в землемерии, а следовательно, и в геометрии, и в инженерном деле.

Как эти знания, так и знакомство с высшей военной наукой центурион приобретал на прак- тике. Марий у Саллюстия с насмешкой говорит о военачальниках, которые, получив командова- ние, начинают по греческим книгам изучать во- енное дело. Центурионы, вероятно, тоже втихо- молку посмеивались над неопытными офицера- ми, которые у греческих авторов учились тому, как воевать. Их самих учила суровая практика во- енной жизни. Участие во многих походах, служба под начальством разных командиров, вереницы боев, схваток и приключений — все это изощря-

ло и будило мысль, обогащало опытом, учило и наставляло. Рядовой солдат, разумный и внимательный, любивший военное дело, думавший над причинами побед и поражений, своих и вражеских, постепенно превращался в хорошего военного специалиста. Старшие центурионы, получавшие свое звание после долгих лет службы, всегда принимали участие в военном совете, и офицерам, членам совета, прислушаться к мнениям этих старых солдат стоило, и было чему у них поучиться. С изумительной проницательностью оценивали они создавшееся положение и умели найти выход, обнаруживая и смелость, и гибкость мысли. Гальба, легат Цезаря, которого Цезарь оставил зимовать в Альпах и которому грозила опасность оказаться во вражеском окружении, спас своих солдат потому, что вовремя послушался своего старшего центуриона, который настаивал на том, чтобы, не слушаясь Цезарева приказа, оставить лагерь и пробиться сквозь неприятельские отряды. Сабин, другой военачальник Цезаря, погубил свой легион потому, что пошел наперекор своим центурионам, кото-

рые уговаривали его не покидать лагеря и в нем отсиживаться.

Искушенный в вопросах высокой военной науки, центурион был обязательно знатоком и той части военного дела, знать которую надлежало каждому солдату и обучить которой свою сотню надлежало центуриону.

Римский новобранец проходил довольно сложный и разнообразный курс обучения. Его прежде всего учили ходить в строю «военным» и "полным шагом" (6 и почти 7 км в час), бегать, перепрыгивать рвы и разные препятствия, плавать и ездить верхом. Легионер сражался пешим, но с лошадью обращался запросто: Цезарь перед встречей с Ариовистом не задумался посадить свой 10-й легион на коней. Молодого солдата упражняли в том, чтобы он с силой и без промаха метал копье, ловко отражал щитом удары и умело им закрывался, хорошо рубился и метко наносил раны. Он должен был хорошо владеть лопатой и киркой, топором и пилой: в походе римские солдаты каждый вечер обводили место своей ночевки солидным укреплением, состоящим из рва,

вала и палисада; римское войско "словно носило с собой повсюду обведенный стенами город". О том, во что превращался римский лагерь, если грозила опасность вражеского нападения, можно судить по лагерю Цезаря под Алезией. Осада вражеского города требовала сложных сооружений, где саперные и плотничьи работы сочетались вместе: достаточно вспомнить вал Цезаря под Авариком. Молодого легионера требовалось ввести во все хитрости тогдашнего саперного дела. Этого мало: Цезаря в его походах сопровождал целый "артиллерийский парк"; солдат должен был ознакомиться со всеми изобретениями греческой осадной науки и уметь обращаться с довольно сложными и разнообразными осадными машинами. Всей этой многообразной технике тогдашнего военного дела и обучал центурион своих солдат. Мастер своего дела, терпением и снисходительностью он обычно не отличался и учил не только словом и показом, но и лозой. Одного из лучших центурионов Цезаря прозвали «палкой»; Ювенал, поминая солдатскую жизнь Мария, сразу же представил себе, как центурион

обламывал о его голову свою узловатую лозу.

Как бы то ни было, но своей великолепной воинской выучкой римское войско обязано было центурионам; оно было обязано им еще большим: своим воспитанием. Учитель всегда накладывает свою печать на ученика. Если, судя по словам Полибия, от центуриона требовались рассудительность, отвага, сознание долга и презрение к смерти и если в римском солдате мы видим те же качества: мужество, умение безропотно переносить всяческие тяготы, упорство в достижении цели, ревнивую охрану воинской чести, то можно смело утверждать, что эти воинские добродетели были воспитаны в солдатах центурионами. От центуриона солдаты получали приказания, он был их прямым, непосредственным начальником; по нему равнялись в лагерной жизни и в бою, он служил примером и образцом.

Цезарь знал, что делал, когда, оставив все по-старому в тех легионах, которые перешли к нему от Помпея, он только сменил нескольких центурионов. Одно присутствие центуриона было достаточно, чтобы "солдаты держались своих

обязанностей". Сказать, что центурион был верен своему долгу и чести воина, — значит сказать мало: это чувство было той жизненной силой, которая вела центуриона неизменно и неотступно, всегда и везде и перед которой отступала сама смерть. У Цезаря есть потрясающий рассказ — и действует он особенно сильно потому, что события, как обычно для Цезаря, изложены в словах скупых и суховатых, — о том, как умирающий центурион спас лагерь и войско от верной и страшной гибели. Узнав от пленных, что Цезарь далеко и что значительное число солдат ушло на фуражировку, германцы пошли приступом на лагерь, где, между прочим, находилось много больных и в том числе примипил Секстий Бакул. Измученный болезнью и ранами, пятый день ничего не евший, уже отчаявшись и в своем выздоровлении, и в спасении лагеря, он выполз из палатки глотнуть свежего воздуха. На лагерь приступом идут сивамбры, солдаты мечутся в беспорядке — и обессиленный, почти умирающий человек сразу становится тем, чем он обязан быть по своему долгу центуриона: он обязан

спасти этих растерявшихся людей, и, выхватив меч и щит у первого подвернувшегося солдата, он кидается к воротам, куда рвутся враги, крича, бранясь, ободряя своих. Этого было довольно: полумертвый центурион напомнил солдатам, что они должны делать. Они кинулись за ним; беспорядочная толпа сразу превратилась в воинский отряд, следующий за своим центурионом, которого привычно слушаться и на которого привычно надеяться. Он впереди, как и положено, и первые раны, как и положено, принимает на себя; силы оставляют его, его выносят на руках, он без сознания и, вероятно, через несколько часов умирает. Такое напряжение и такая трата сил не могли пройти даром для тяжело больного, но дело свое Тит Секстий Бакул выполнил: лагерь и солдаты были спасены. Случай этот не единственный.

Центурион остро чувствовал ответственность за своих людей. В трудные мгновения глаза солдат с надеждой обращались на эти суровые лица, и надежда их не оставалась обманутой: в самые безвыходные минуты, перед лицом горькой

и неизбежной гибели центуриону не приходило в голову подумать о своем спасении. "Отбрасывая своей доблестью врага", они стояли живой стеной, под прикрытием которой солдатам удавалось ускользнуть и спастись. "Я не могу уцелеть вместе с вами, — кричит товарищам Марк Петроний, один из центурионов Цезаря, — но о вас я позабочусь: вот вам возможность спасения" — он кидается в гущу галлов, убивает двоих, отгоняет остальных от ворот и решительно отвергает всякую помощь: "Я все равно истекаю кровью; уходите, пока возможно, и возвращайтесь к вашему легиону". "Он вскоре пал, сражаясь, — заключает Цезарь свой рассказ, — и этой смертью спас товарищей". Эти люди защищали своих солдат с той же спокойной и деловой непреклонностью, с которой они распоряжались разбивкой лагеря или учили новобранцев. Это было их дело; они должны были выполнить его до конца. И когда исколотые, изрубленные, обессиленные они опускались, наконец, в лужу собственной крови, то эта смерть — последний и неопровержимый урок воинской доблести — имела следствия, о которых

не подозревали ни павшие в бою, ни их уцелевшие соратники. Героизм не преподается с голоса — ему учат примером. Какой пример был сильнее такой смерти? Новобранцы, пришедшие в легион, слушали рассказы старых солдат об этих людях, умевших презирать смерть и забывать себя ради своих товарищей. Имена их прочно входили в неписаную историю легиона, жившую в памяти и в сердцах солдат. Одно поколение приходило на смену другому; уходившие оставляли пришедшим эти воспоминания и рассказы — сокровищницу, где сберегались воспоминания о том, что было славой и гордостью легиона. На этих рассказах воспитывались, до их героев мечтали дорасти. Так складывались военные традиции, сделавшие римское войско самым грозным войском древности; в создании этих традиций центуриону римской республики принадлежит почетное место.

Глава девятая. ГЛАДИАТОР

Гладиаторский поединок был у этрусков частью тризны, которую устраивали родственники умершего, чтобы умилостивить и повеселить его душу. От этрусков этот обычай перешел в Рим, но довольно поздно: в 264 г. до н. э. сыновья Брута Перы устроили в память отца бои гладиаторов. Зрелище показалось столь необычным и замечательным, что в летопись Рима внесено было и число сражавшихся — три пары, и место, где сражение ("гладиаторские игры") происходило — на Коровьем рынке. Трудно сказать, сочтены ли были эти кровавые поминки лучшим средством умиротворить душу, расставшуюся с землей, просто ли ими увлеклись как захватывающим зрелищем, но только чем дальше, тем в больших размерах их устраивают: они растягиваются на несколько дней, в них выступают десятки гладиаторов. Связь между гладиаторскими играми и поминками никогда не забывалась; их называли "погребальными играми"; официальное наименование их — *munus* ("обязанность") — долг живого по отношению к умершему. Многие богатые и знатные люди устраивали их в память

своих близких: Цезарь, например, в память своего отца и в память дочери; Август — в память Агриппы, своего зятя и одного из лучших своих сотрудников. Все больше, однако, превращаются они только в зрелище, с которым по увлекательности мало что может сравниться. Теренций в прологе к одной из своих комедий рассказывает, как на первом представлении ее (164 г. до н. э.), когда разнеслась весть, что "будут гладиаторы", театр сразу опустел: все понеслись сломя голову смотреть их поединки. В 105 г. до н. э. гладиаторские игры вводятся в число публичных зрелищ; отныне государство возлагает на своих магистратов заботу об их устройении. Гладиаторские игры становятся и в Риме, и по всей Италии любимейшим зрелищем, и это быстро учитывают те, кто хочет выдвинуться. Цезарь в 65 г. до н. э. дал игры, в которых приняли участие 320 пар гладиаторов. Враги его испугались: страшны были не только эти вооруженные молодцы; страшно было то, что роскошные игры стали верным средством приобрести расположение народа и обеспечить себе голоса на выборах. В 63 г. до

н. э. принят был по предложению Цицерона закон, запрещавший кандидату в магистратуры в течение двух лет до выборов "давать гладиаторов". Никто, однако, не мог запретить частному лицу «дать» их под предлогом поминок по своему родственнику, особенно если последний завещал своему наследнику устроить игры. Можно думать, что закон 63 г. обходили часто и умело.

Все изменилось при империи. Императоры не доверяют сенатской аристократии и неуклонно отстраняют ее от всех влиятельных и важных должностей. Можно ли было оставить за ней право свободно, по своему усмотрению давать гладиаторские игры? Держать в руках такое верное средство привлечь к себе сердца? Конечно, нельзя. Обдуманно и последовательно начинается ряд ограничений и запрещений. Август разрешает устраивать эти игры только преторам и не чаще двух раз в год; максимальное число гладиаторов не должно превышать 120 человек. Кроме того, надо каждый раз испрашивать особое разрешение у сената и рассчитывать на собственные средства: дотации от казны отобраны. Нель-

зя лишить людей права устраивать эти игры на поминках, но Тиберий сокращает для них число гладиаторов. В дальнейшем уже не преторы, а квесторы, т. е. самые младшие магистраты, облечены правом устраивать в Риме официальные игры. И тоже на свои деньги. А так как теперь покупать голоса не к чему, а приобретать популярность опасно, то квесторы, надо думать, и не беспокоились о придании своим играм особого блеска. Блестящие игры могут сейчас давать только императоры: у них для этого есть все возможности и для них нет никаких ограничений. Август во время своего правления давал игры восемь раз и вывел на арену 10 тыс. человек (в среднем по 625 пар на каждый раз); Флавию выстроили огромный амфитеатр и запретили частным лицам держать гладиаторов в Риме — это исключительное право императоров. Траян, празднуя в 107 г. завоевание Дакии, дал игры, длившиеся четыре месяца; участвовало в них 10 тыс. гладиаторов.

Мы довольно много знаем о гладиаторах и гладиаторских играх. До наших дней сохрани-

лись развалины амфитеатров; по остаткам гладиаторских казарм в Помпеях мы можем представить себе помещения, где они жили; мы знаем, как их обучали, с каким оружием и в каких доспехах они выходили на арену; нам известно, как относились к ним общество и государство. Сохранилось много изображений и надписей, освещающих и устройство гладиаторских игр, и внутренний облик самих гладиаторов. Ознакомившись со всем этим материалом, испытываешь мучительное недоумение и растерянность: мы не в силах понять людей, теснившихся на скамьях амфитеатров. Со щемящей ясностью можно представить себе, что творится на арене; от этих ручьев крови, от этих сотен трупов становится физически плохо. И эту бойню люди ожидают как праздника и радуются ей как празднику. Цицерон полагал, что никто с такой силой не учит презрению к боли и смерти, как гладиаторы. Ему вторит Плиний Младший. Вряд ли, однако, толпа спешила в амфитеатр за нравственными уроками. Один из застольников Тримальхиона, занятый таким мирным ремеслом, как изготов-

ление лоскутных одеял, ликует, что на гладиаторских играх "наш Тит даст оружие превосходное; убежать — шалишь; бейся на смерть!". Люди наслаждались видом страданий и крови; они хотели их видеть; радостно вопили "получил! получил!", когда гладиатор обливался кровью; они приветствовали убийцу и негодовали на оробевшего гладиатора. "Народ считает для себя обидой, что человеку не хочется гибнуть". "Бей его, жги!" (медливших гнали в бой огнем и бичами). "Почему так трусит он мечей? Почему не хочет храбро убивать? Почему не умирает с охотой?". Толпа могла потребовать, чтобы раненого доби-ли. Слова Сенеки, что "человек для человека — вещь священная" прозвучали как в безвоздушном пространстве, никем не услышанные, никем не подхваченные. Марциал в одной из своих эпиграмм, восхваляющих представления, данные в только что отстроенном Флавиевом амфитеатре (он только в XI в. н. э. получил название Колизея), обмолвился страшными словами: "Тигрица, пожив среди нас, стала свирепее". Ужас и отвращение испытываешь перед этой беско-

рыстной жестокостью, перед этой способностью любоваться чужими страданиями. Почему люди, которые вставали на защиту невинно осужденных, забрасывали камнями магистрата, принуждавшего идти в гладиаторы свободного человека, не жалели жизни, спасая людей из огня, — почему для этих людей страшные сцены в амфитеатре были излюбленным зрелищем? На тему о падении римских нравов писали много, начиная с XVIII в. Не говоря уже о том, что вопрос этот требует коренного пересмотра и совершенно другой постановки, "падение нравов" здесь ничего не объясняет, потому что увлечение гладиаторами во II в. до н. э., когда нравы еще не «упали», было таким же сильным, как и во II в. н. э.

Императорские распоряжения и запреты относились к Риму и на остальную Италию не распространялись. Муниципальная знать не обладала ни богатством, ни влиятельностью сенатской аристократии; представители ее мало что значили за пределами родного города, и в большинстве своем это были люди, выдвинувшиеся при новом режиме и ему искренне преданные. Не было

смысла их ограничивать, и муниципальные магистраты, члены городской думы и просто богатые и влиятельные граждане не упускают случая развлечь родной город гладиаторскими играми. Их часто устраивают в благодарность за избрание на какую-нибудь должность, из желания приобрести расположение народа. Дает их обычно городская знать: в Помпеях, например, — квинквеннал Нигидий Май, эдил Суетий Церт, фламмин Децим Валерий; в Остии, большой торговой гавани, — Луцилий Гамала, член одной из самых видных остийских семей; в маленьком Ланувии — эдил Марк Валерий; в Габиях, одно имя которых вызывало у римлян представление о сонном захолустье, жрица Агусия Присцилла "устроила изрядные игры в честь императора Антония Пия, отца отечества, и детей его".

Можно было превратить гладиаторские игры в источник дохода. В правление Тиберия, который и сам не любил гладиаторских игр, и римлян баловал этим зрелищем не очень охотно, некий отпущенник Атилий решил построить в Фиденгах (небольшой городок километрах в семи от Рима)

деревянный амфитеатр, правильно рассчитывая, что римляне хлынут на игры, которые здесь будут устраивать. Прибыль для себя предвидел он верную и богатую. Соображения его оправдались только в одной части: на первое же зрелище собралась, действительно, огромная толпа, но наспех сколоченные деревянные сидения рухнули, и 50 тысяч человек было убито и перекалечено. Это несчастье потрясло Рим; сенат запретил устраивать гладиаторские бои людям, не имевшим всаднического ценза (400 тыс. сестерций), и строить амфитеатры, не обследовав предварительно, "прочна ли почва".

Во времена республики многие богатые и знатные люди формировали гладиаторские отряды из своих рабов: это было выгодно во многих отношениях. Будущих гладиаторов обучали в специальных заведениях, которые, назывались "гладиаторскими школами". Самая старая из известных нам гладиаторских школ принадлежала Аврелию Скавру, консулу 108 г. до н. э. Капуя, с ее прекрасным здоровым климатом, была излюбленным местом для этих школ. Здесь как раз

находилась та школа, из которой в 73 г. до н. э. бежало 200 рабов со Спартаком во главе. Если хозяин такой школы хотел устроить гладиаторские игры, ему не надо было искать гладиаторов на стороне; Цезарь, имевший тоже в Капуе школу, оттуда брал гладиаторов для игр, которые он устраивал. Своих гладиаторов можно было продать или отдать в наймы тому, кто устраивал игры. Аттик, друг Цицерона, превосходный делец, безошибочно чувствовавший, где и на чем можно нажиться, купил однажды хорошо обученный отряд, и Цицерон писал ему, что если он отдаст этих гладиаторов в наем, то уже после двух представлений он вернет свои деньги. Кроме того, гладиаторы были надежной личной охраной в страшное время конца республики. Лица, захваченные борьбой партий и стремившиеся к власти, держали их именно с этой целью: были они и у Суллы, и у Цезаря, и у Катилины.

Кроме этих высоко стоящих на общественной лестнице людей, существовала целая категория лиц, для которых покупка, перепродажа, а иногда и обучение гладиаторов являлись професси-

ей, средством заработать хлеб. Они звались ланистами (название от того же корня, что и *lanius* — "мясник"). Аттика и людей его круга коммерческие операции с гладиаторами нисколько не позорили, но ланиста, так же как и сводник, считался человеком запятнанным, а его занятие — подлым. По самому роду своей деятельности ланиста должен был иметь дело не только с официальными работорговцами (это сословие пользовалось в Риме славой первостатейных плутов), но и с работорговцами-преступниками: пиратами, которые, пока Помпей не очистил от них Средиземного моря, рассматривали похищение людей как выгодное ремесло, и с разбойниками, которые со времени гражданских войн и еще при Августе хватали по дорогам беззащитных путников и продавали их как своих рабов. В этом темном преступном мире ланиста был своим человеком, и это еще увеличивало отвращение к нему и к его деятельности.

Ланисты были двух категорий: оседлые и бродячие. Первые обзаводились помещением, более или менее просторным, в зависимости от размаха

своей деятельности, и устраивали при нем контору по продаже и найму гладиаторов. Именно таких Август выслал из Рима в голодный год, чтобы избавиться от лишних ртов. Можно не сомневаться, что люди эти наживали неплохое состояние. Бродячие ланисты переходили со своими гладиаторами из одного городка в другой, устраивая игры где и как придется; кое-как сводили концы с концами в случае неудач (а их могло быть достаточно: гладиаторы не понравились и на второй день зрителей пришло мало; несколько человек было ранено, а то и убито; нанять дешевое жилье не удалось; из отряда сбежал лучший боец), а если счастье улыбалось, то понемногу сколачивали себе капитал, вероятно, с расчетом перейти на положение оседлого ланисты.

Мы не знаем, как устраивал свою контору ланиста и как оберегал он свою "гладиаторскую семью", в которой, конечно, бывали рабы, мечтавшие о побеге. В городах, особенно таких, где имелся амфитеатр, строили обычно свою гладиаторскую школу — специальные казармы, где постоянно жили гладиаторы, принадлежавшие го-

роду (надо думать, что были и такие), и временно размещались те, которых наняли на ближайшие игры. Развалины таких казарм в Помпеях дают о них представление.

Здесь все рассчитано на то, чтобы гладиатор всегда находился под надзором. Казармы идут сплошной линией по четырем сторонам просторного прямоугольного двора (55 м длиной, 44 м шириной); они двухэтажные; вверху и внизу находится маленькие каморки в 4 м², где размещены гладиаторы. Таких каморок около 60; в каждой, в крайнем случае, можно уложить спать по два человека. Окон в них нет; есть только двери, которые открываются в нижнем этаже в портик, идущий вокруг всего двора, а в верхнем — на галерею, обращенную тоже во двор. Кроме этих каморок, имеется ряд «подсобных» помещений: большая кухня и рядом с ней столовая; парадная комната, расписанная изображениями гладиаторского оружия; комната, откуда можно было наблюдать за упражнениями гладиаторов; карцер, куда сажали провинившихся. Со двора можно было выйти только через калитку, нахо-

дившуюся всегда под охраной. Для гладиатора его школа превращалась в тюрьму — по крайней мере, в течение какого-то времени; во дворе он часами фехтует и упражняется, во время отдыха болтает с товарищами и посетителями, пришедшими поглазеть на гладиаторское мастерство, а вечером после сытного и тяжелого обеда заваливается спать в своей конуре. Выйдет он с этого двора только в тот день, когда его поведут в амфитеатр — на убой или на убийство.

В Риме при империи, когда держать в столице гладиаторов могли только императоры, было четыре императорские школы. В «Утренней» обучались гладиаторы, которых готовили к звериным травлям; называлась она «Утренней» потому, что травли происходили по утрам, до выступления гладиаторов. Около Колизея находилась "Большая школа", план которой частично сохранился на обломке Мраморного плана. Он очень напоминает помпейские казармы: такой же внутренний окруженный колоннадой двор, куда выходят комнатенки гладиаторов; тоже два этажа. Только во дворе, который, вероятно, был еще

больше помпейского, устроена арена: гладиатор Большой школы с первых дней своего ученичества должен был привыкать к ее виду.

До нас дошел ряд надписей из этой школы, позволяющих судить об организации императорских школ и об их управлении. Во главе стояли прокуратор со своим помощником, принадлежащие оба к всадническому сословию. В прошлом — это легионные трибуны или чиновники финансового ведомства. Большая школа занимает среди императорских школ первое место, и прокуратор Утренней мечтает о переводе его на ту же должность в Большую, как о повышении. В распоряжении прокуратора находится целый штат служащих: хозяйством ведает вилик; расчет доходов и расходов ведет диспенсатор; со всякими поручениями бегают курьер; за арсеналом смотрит препозит, за мертвецкой, куда сносили убитых и умерших гладиаторов, — куратор; в мастерской, где изготовляли и починяли гладиаторские доспехи, поставлен свой заведующий; при школе состоят врачи и «доктора» — мастера фехтованья, занятые обучением гладиаторов.

Все это — императорские рабы или отпущенники.

Гладиаторов в императорских школах было много. Вспомним, сколько людей посылал на арену Траян. В 69 г. император Отон перевел из школы в свою армию 2 тыс. человек; в 248 г. столько же участвовало в играх на праздновании тысячелетней годовщины Рима.

Императорские гладиаторы выступали не только в играх, которые устраивали императоры. Император мог любезно предоставить несколько своих гладиаторов устройтелю игр; Домициан на играх, даваемых квесторами, выпускал иногда по просьбе народа две пары бойцов из своей школы. А кроме того, гладиаторы были для императорской казны хорошим источником дохода. Император поручал прокуратору продавать их или отдавать в наймы устройтелям игр. В помпейских надписях неоднократно упоминаются гладиаторы «неронианцы», в одном представлении участвовало 12 «юлианцев». Последние обучались, по-видимому, в школе, которая принадлежала раньше Юлию Цезарю и сохранила название, данное по ее знаменитому хозяину; первые

вышли из какой-то школы, устроенной Нероном. Гладиаторские школы, принадлежавшие императорам (кроме Рима, были они и по другим городам Италии, а также и в провинциях), были, конечно, лучшими: людей брали сюда отборных, обучали их тщательно; из поединков с гладиаторами частных школ победителями выходят обычно они — естественно, устроителям игр хотелось приобрести хотя бы двух-трех «императорских» гладиаторов.

Состав гладиаторской семьи был пестрым; были здесь и свободные, но большинство все-таки рабы. Хозяин имел право продать своего раба ланисте; чаще всего это было наказанием, которому он подвергал раба по своей воле и прихоти. Только Адриан положил конец такому произволу: теперь раба можно было отправить в гладиаторскую школу только с его согласия. Если раб совершил какое-то преступление, то хозяин должен был привести магистрату причины, по каким он хочет сослать раба на эту каторгу. Гладиаторская школа, рудники и каменоломни были в древности двумя видами каторги, причем

гладиаторская школа считалась более тяжелой. Только смертная казнь была страшнее. Преступников, осужденных по суду, — убийц, поджигателей, святотатцев — сюда и отправляли. Иногда участь эта ожидала и военнопленных; после взятия Иерусалима Тит отправил часть пленных евреев в египетские каменоломни, а часть разослал по гладиаторским школам.

Учителя риторских школ любили задавать сочинения на тему о самоотверженном юноше, который, чтобы помочь в нужде другу или с честью похоронить отца, шел в гладиаторы. Причины, толкавшие свободных людей идти по доброй воле в гладиаторы, были обычно грубее. Изголодавшегося бедняка, у которого не было ни кола ни двора, школа избавляла от нудной тревоги за кусок хлеба; лихого удальца, в котором кипел избыток сил, она прельщала красивыми доспехами, блеском будущих побед, богатством, славой. У юноши тщеславного, самонадеянного, без нравственных устоев, с тощим запасом мыслей голова шла кругом от этих ослепительных видений, а у ланисты были еще опытные вербовщи-

ки, которые умели такими красками расцветить ожидавшее его будущее! Легкомысленному юнцу не приходило в голову, что его первое выступление на арене может оказаться и последним, и он начисто забывал, какую цену должен он заплатить за то счастливое «завтра», которое, может быть, никогда и не наступит. А цена была страшная. Человек, определившийся в гладиаторы, навсегда утрачивал свое гражданское достоинство; он попадал в разряд *infames* ("обесчещенных"). Какое бы богатство не выпало ему потом на долю, он никогда не войдет в сословие всадников, никогда не станет членом городской думы или муниципальным магистратом. Он не может выступать в суде защитником или свидетелем; его не всегда удостоивают пристойного погребения. Гражданин маленького городка Сассины дарит городу участок земли под кладбище, но запрещает хоронить на нем людей зазорных профессий и гладиаторов-добровольцев. Быть гладиатором — это последняя степень человеческого падения.

И законодательство старается образумить глупца, который ради фантастических надежд

жертвует таким реальным благом, как звание гражданина. Доброволец должен объявить народному трибуну о своем желании идти в гладиаторы, назвать свое имя и возраст. Трибун мог не согласиться с таким желанием, если находил добровольца по физическому состоянию негодным для гладиаторской службы. Сумма, которую ланиста вручал при заключении первого условия, не должна была превышать 2 тыс. сестерций. И за эту жалкую сумму продавать свою жизнь и честь? Можно было еще остановиться и одуматься.

Если доброволец упорствовал, ему предлагалось подписать условие, заключаемое с ланистой, и он был обязан перед магистратом произнести клятву, превращавшую его формально в раба; в этой клятве он признавал за ланистой право "наказывать его огнем, связывать, бить, убивать мечом".

В риторических декламациях гладиаторские казармы изображались в красках самых мрачных: в этих грязных конурах, под гнетом жестокой дисциплины жить тяжелее, чем в страшных

подвальных тюрьмах, где хозяева держат законных рабов. Нельзя сомневаться, конечно, что гладиаторам жилось несладко, но что ланиста в собственных своих выгодах заботился о здоровье и физическом благополучии своих молодцов, это тоже несомненно. Их сытно кормят (большое место в их рационе занимают бобовые, это "вегетарианское мясо", как их называют теперь); после упражнений тщательно массируют и натирают оливковым маслом; заболевшего или раненого гладиатора усердно лечат. Знаменитый Гален был очень доволен, когда его, молодого человека, пригласили врачом в гладиаторскую школу. Дисциплина в казармах была строгой и не могла быть иной: в гладиаторской школе людей высокого нравственного уровня, как правило, не бывало; буянов, которым море было по колено, приходилось держать в крепких руках. А с ними бок о бок жили преступники, часто опытные и закоренелые. Общество в школе часто собиралось страшное. К своему праву "жечь и убивать мечом" ланиста прибегал, вероятно, в редчайших, исключительных случаях; меры против

гладиаторов были главным образом предупредительными: они всегда под надзором; императорские школы охраняет военный караул; гладиаторам не дают настоящего оружия, они получают его только в амфитеатре, в школе же фехтуют деревянными мечами. Существуют и наказания: есть карцер и колодки. Колодки нашли в карцере помпейских казарм: это тяжелый деревянный брус с набитой на него железной полосой, в которую вертикально вставлены кольца на невысоких стержнях; сквозь все кольца пропущена железная штанга, наглухо закрепляемая с обоих концов тяжелыми замками. Провинившегося сажали на пол, клали его ноги между кольцами, продевали штангу через все кольца, и запирали замки; просидеть даже несколько часов в таком положении было мучительно.

Прежде чем выйти на арену, новичок проходил целый курс фехтования и обращения с разного рода оружием. Не все гладиаторы были одинаково вооружены и одинаково одеты. Делились они на две основные группы: тяжеловооруженных, подразделявшихся в свою очередь на

несколько категорий, и легковооруженных. Последние были, по существу, представлены только ретиариями. Вооружение этих гладиаторов — сеть, которой они должны опутать противника (от нее они и получили свое название: сеть полатыни *rete*), трезубец (иногда копье) и кинжал. Сражался ретиарий, строго говоря, голым: на нем ничего нет, кроме широкого кожаного пояса с металлическими пластинами, защищавшего живот, и наплечника, который закрывал левое плечо, руку почти до локтя и поднимался над плечом так, что им можно было слегка прикрыть голову.

Тяжеловооруженные ("фракийцы", гопломатхи, секуторы, мурмилоны) защищены лучше. На них надеты каски, круглые или высокие, с гребнем, а то и с султаном, очень часто — с забралом, скрывающим все лицо (чтобы видеть и дышать, в нем пробивают множество отверстий) и широким «воротником», защищающим шею и плечи. Правая рука — в толстых ременных обмотках или в железном нарукавнике, на ногах — поножи, а над ними — еще кожаные обмотки; короткие трусы прихвачены толстым кожаным поясом с ме-

таллическими полосами, он целиком закрывает живот и верхнюю часть бедер. Спинка и грудь всегда открыты. Вооружение «тяжелого» гладиатора составляют меч или длинный кинжал и щит. Он бывает овальный, круглый или прямоугольный. Гладиатор с поножами на обеих ногах, небольшим круглым щитом и кривым ятаганом звался «фракийцем» (во время войн Суллы на Востоке римляне ближе познакомились с этим народом, и ланисты решили ввести их вооружение в свои школы). Гладиатор с поножью только на левой ноге и длинным щитом, напоминающим цилиндр, разрезанный вдоль, назывался в раннее время республики самнитом, а при империи — секутором или гопломахом. Каждую категорию тяжеловооруженных обучали свои учителя — вышеупомянутые "доктора".

Молодого гладиатора одевали во все доспехи той группы, куда он был зачислен, вручали ему деревянный меч и щит, сплетенный из ветвей ивы, и обучение его начиналось. Учитель показывал ему, как нападать и как увертываться от ударов, фехтовал с ним сам, а кроме того, заставлял

упражняться на мишени. В землю вколачивали высокий (1.8 м) кол (по-латыни *palus*), и ученик должен был быстро и метко попадать в указанное ему место. Мало хорошо действовать мечом; надлежало крепко запомнить, что только щитом может гладиатор прикрыть грудь и бок и что раскрыться значило погибнуть. Устраивались примерные поединки; учитель объяснял ученику его ошибки и промахи. Иногда для фехтования выдавались доспехи и оружие более тяжелые, чем те, которыми пользовались на арене: пусть гладиатор развивает свои мускулы. Кроме того, новичок должен был хорошо усвоить технический словарь гладиаторского искусства; может быть, он почитывал и теоретические руководства, об этом искусстве написанные.

Тяжеловооруженные гладиаторы сражались между собой; ретиарий никогда не бился с ретиарием. Обычным противником его был мурмилон; на его каске изображена рыба (полагают, что свое название он и получил от этой рыбы: ее звали "мурма"). Устроители игр считали, видимо, что они придадут особую остроту кровавой

схватке, изобразив ее в виде невинной рыбной ловли. Ретиария поэтому и снарядили как рыбака, вручив ему сеть и трезубец, а у мурмилона поместили на каске изображение рыбы. "Не тебя ловлю, а рыбу! Убегаешь зачем, галл?",¹⁵ — напевает ретиарий, преследуя мурмилона, увернувшегося от его сети.¹⁶

В гладиаторской школе имелась своя иерархия. Новичок, еще не выступавший на арене

¹⁵Мурмилонов называли еще галлами.

¹⁶Есть два очень интересных рельефа, знакомящих нас с гладиаторским оружием, доселе неизвестным. На одном изображен гладиатор в каске с гребнем и «воротником», в чешуйчатом панцире до колен, с кинжалом в левой руке. На правую надет какой-то предмет, чрезвычайно напоминающий нашу капустную сечку. На другом изображен поединок ретиария с гладиатором в толстой стеганке (может быть, тоже плохо изображенный чешуйчатый панцирь?). На земле валяется «сечка»: это полый конус со стержнем, вделанным в вершину. К этому стержню приделан нож, имеющий форму лунного серпа. «Тяжелый» гладиатор совывал руку в такой конус и «серпом» захватывал и разрезал сеть ретиария.

амфитеатра, назывался «новобранцем»; после какого-то очень небольшого числа сражений — может быть, даже после первого поединка — он становился «ветераном». Внутри каждой категории (мурмилоны, «фракийцы», ретиарии) людей группировали в соответствии с их силой и умением; было пять гладиаторских рангов. Гладиатор по мере усовершенствования повышался в ранге. Ранги эти назывались *palus*, и в гладиаторских надгробиях родные или друзья не забывают упомянуть, что умерший был гладиатором первого или второго ранга (третьим, не говоря уже о следующих, хвалиться было нечего).

О дне гладиаторских игр сообщалось заранее; на стенах домов крупными буквами писали объявления. В Помпеях хорошо сохранилось несколько таких надписей: "Гладиаторы эдила А. Суеттия Церта будут биться накануне июньских календ [31 мая]. Будет звериная травля; натянут полотно" (т. е. над амфитеатром будет натянут тент для защиты зрителей от дождя и солнца); "30 пар гладиаторов Аллия Нигидия Майя будут биться в 8-й, 7-й и 6-й день до декабря-

ских календ [22, 23 и 24 декабря]. Будет звериная травля". Иногда добавляются такие замечания: "отсрочки не будет", "в любую погоду" или "если погода позволит" — в этом случае устроитель игр, видимо, не располагал такими средствами, чтобы вдобавок ко всем расходам истратиться еще на тент для всего амфитеатра. Кроме таких надписей были и настоящие афиши — листки, в которых сообщались все подробности, касающиеся игр: имя устроителя; повод, по которому "даны гладиаторы"; число пар и «специальность» их ("фракиец", ретиарий и т. п.); число выступлений и побед, одержанных каждым. Такие афишки продавались в большом числе, и во время игр зрители в них заглядывали. Овидий рекомендовал молодому человеку приносить такие программки девушке, за которой он ухаживает.

Мало, надо думать, было людей, которые с бестрепетным спокойствием встречали день своего выступления на арене. Каждый понимал, что он идет на встречу со смертью; "за жизнь боремся" — сказано в эпитафии одного гладиатора, и

перед этой смертельной борьбой не один человек содрогался и обливался потом, как тот гладиатор, великую муку которого один ритор с ужасающим бессердечием сравнил с беспокойством декламатора, приготавливающего речь. На арене почти все решал случай. Жребий мог назначить новичку, впервые выступающему в амфитеатре, страшного противника, искусного и жестокого; самый опытный боец мог промахнуться и получить такую рану, с которой продолжать поединок уже не было сил, и тут жизнь его целиком зависела от настроения зрителей: если он покори́л их сердца своим мужеством и ловкостью, то они требовали пощады раненому; в амфитеатре поднимался единодушный вопль «отпустить»; люди махали платками и поднимали большие пальцы кверху. Если же он чем-то не угодил этой капризной и прихотливой толпе, пальцы опускались вниз, к земле, и под крики «добей» победитель поворачивал противника лицом вниз и всаживал ему нож в спину или в затылок.

Гладиаторские игры начинались торжественным шествием гладиаторов; в пурпурных, расши-

тых золотом туниках обходили они кругом арену. После этого парада начинался поединок, в котором бились деревянными мечами, показывая только свое искусство. Иногда на арену спускались хорошие фехтовальщики из числа зрителей: пусть посмотрят люди, что значит настоящее мастерство! Император Тит на играх в Реате (теперь Риети в Умбрии), своем родном городке, сразился в таком поединке с консулом Аллиеном. Коммод чрезвычайно любил выступать в этих поединках; побежденными, «естественно», по ядовитому замечанию историка Диона Кассия, оказывались его противники. После нескольких таких поединков начиналось настоящее сражение.

Прежде всего на арену выносили настоящее оружие — гладиаторы получали его только сейчас, на арене амфитеатра, — и тот, кто устраивал игры, проверял, достаточно ли оно остро. В надписях неоднократно встречается упоминание о том, что гладиаторы бились "острым оружием". Противники назначались один другому по жребию. Кровопролитие можно было сделать

еще страшнее. Домициан, по-видимому, требовал, чтобы гладиаторы сражались без щита; иногда устроитель игр предварял их объявлением, что «отпуска» не будет: поединок должен длиться, пока один из противников не падет мертвым; раненому пощады не будет. Когда Домиций, дед Нерона, давал такие игры, Август, возмущенный этой бойней, указом запретил игры "без отпуска". Вряд ли эдикт этот строго соблюдался: в 242 г. н. э., например, магистрат Минтурн (городок в Лаций) хвалится, что он велел перебить всех побежденных, а это был цвет кампанских гладиаторов. На играх, устроенных в недавно открытом Флавиевом амфитеатре, Домициан заставил биться двух равных по силе гладиаторов до тех пор, пока оба не упали израненные и обессиленные, хотя зрители давно требовали «отпуска», как это было в обычае, если поединок длился долго, а победа не склонялась ни на одну сторону. Толпа, то ли устав ожидать развязки, то ли в досталь налюбовавшись искусством противников, требовала прекращения поединка. Такой исход его на техническом языке амфитеатра име-

новался "отпустить стоящими" (т. е. когда оба бойца держались на ногах).

Официальной наградой победителю была пальмовая ветвь, с которой он пробегал вокруг арены, но, кроме нее, получал он дары и более существенные. Устроитель вручал ему денежную награду, обычно на дорогом подносе, который тоже оставался в собственность победителю. Иногда еще щедрее одаряли гладиатора зрители: требовали для него свободы. Юридически освобождение зависело только от хозяина раба, т. е. от ланисты или устроителя игр, но требования толпы бывали так настойчивы, настроение ее становилось столь угрожающим, что приходилось уступать. Иногда награда была меньшей, но тоже не малой: победителя "опоясывали мечом" — вручали ему деревянный меч вроде тех, которыми фехтовали в школе. Гладиатор, получивший этот знак отличия, освобождается от выступлений на арене. Он остается в школе, помогает «докторам», а чаще всего выступает в роли судьи.

Кто же были эти люди, избравшие своим ре-

меслом убийство и сами готовые пасть под ножом убийцы?

Ремесло гладиатора было презренным. Мы видели, что свободный человек, добровольно поступивший в гладиаторы, оказывался в положении почти раба. "Замаранный человек, достойный своей жизни и своего места", — говорит о гладиаторе поэт Луцилий (II в. до н. э.); Цицерон называет их "потерянными людьми"; Ювенал считает гладиаторскую школу последней ступенью человеческого падения.

Но это только одна сторона. Об этих отверженцах говорят с восхищением в скромных мастерских ремесленников и в богатых особняках сенаторов; Гораций и Меценат обсуждают достоинства двух противников. В Риме помнят, что у «фракийца» Спудия из Школы Цезаря правая рука была длиннее левой, а из гладиаторов Калигулы только двое могли ни на секунду не зажмурить глаз перед блеском внезапно выхваченного меча. Поэты пишут о гладиаторах стихи; художники и ремесленники увековечивают в своих работах эпизоды из их жизни; женщины аристо-

кратического круга в них влюбляются. Сыновья знатных отцов берут у них уроки фехтования; императоры спускаются на арену. Достаточно посмотреть тома надписей из одних Помпей, чтобы убедиться, какой живейший интерес вызывают к себе эти люди: знают их имена, их карьеру, на стенах рисуют гладиаторов, обсуждают подробности их поединков.

И гладиаторы отнюдь не стесняются своей профессии; наоборот, они гордятся ею. В их эпитафиях постоянно упоминается, к какой категории бойцов принадлежал умерший (мурмилон, «фракиец», ретиарий); какое место занимал в ней (новичок, ветеран, гладиатор первого ранга). Эпитафии сообщают, что такой-то был «доктором», а такой — то "получил меч". Часто называется число поединков, в которых гладиатор бился; иногда дается весь его "послужной список": Фламма сражался 34 раза; одержал 21 победу, 9 раз "был отпущен стоящим на ногах", 4 раза помилован. У гладиатора есть свой кодекс чести: он считает недостойным для себя сражаться с противником более слабым; с рав-

ным ему он бьется до последнего и предпочтет смерть бегству; струсить перед противником, бежать от него — это покрыть себя несмываемым позором. На одном рельефе видим мы ретиария и его тяжеловооруженного противника; оба, видимо, изранены и замучены так, что стоять они уже не могут. Оба повалились на землю и, сидя, продолжают сражаться. Гладиатор зажмет свою рану и попросит зрителей успокоиться и не останавливать поединка; выбившись из сил, окровавленный, израненный он ожидает смерти с таким величавым спокойствием, которое сделало бы честь и мудрецу Горация, бестрепетно стоящему среди развалин рушащегося мира. И когда победитель занесет над ним свой кинжал, то, бывает, он сам направит его руку, чтобы удар был вернее.

Только слабый душой, выходя на арену, думает о смерти. Арена — это то поприще, где во всем блеске можно показать свою отвагу и ловкость, свое мастерство и хладнокровие. И гладиатор жаждет этого. Сенека вспоминает мурмилона Триумфа, который жаловался, что при Тиберии

редки гладиаторские игры: "зря пропадают лучшие годы!". Гладиатор "жаден до опасностей", потому что путь к славе пролегает для него через опасность, а славой он дорожит больше жизни. Отношение окружающего общества убедило его в том, что его слава — это нечто большое и настоящее: "не бесславен я был среди живущих"; "никто не победил меня". Один велит написать, что умер от болезни, но не от руки противника; другой, что он скончался от ран, но убил противника. Старого гладиатора победил юноша; что делать! У молодого больше сил, больше гибкости и подвижности, и старик приписывает победу именно перевесу молодости над старостью, но при этом настаивает, что "в искусстве своем он не был позади".

Среди гладиаторов встречались натуры разные. Были люди, которые, живя в кровавом тумане школы и амфитеатра, утрачивали такие чувства, как сострадание и жалость, и, как звери, пьянели от крови. На одном помпейском надгробном памятнике имеется ряд рельефов, изображающих сцены гладиаторских боев. Извест-

ный художник, автор этих рельефов, был тонким и острым наблюдателем. Он изобразил нескольких гладиаторов-победителей и сумел показать в этой роли людей разного душевного склада. Трое — это озверелые существа, которые в горячке боя, освирепев от драки, удачи и крови, хотят одного — добить противника. Один замахвается на врага, уже падающего, уже пораженного насмерть; другого судья силой оттаскивает от раненого, просительным жестом поднявшего руку к зрителям; он готов его добить, не дожидаясь их решения. Маленький ретиарий вцепился в трусы побежденного им рослого молодца, словно боясь, как бы он не убежал раньше, чем ему всадят в горло нож. Гладиатор, упавший на одно колено и обращающийся к толпе с просьбой о помиловании, со страхом оглядывается на победителя, угрожающая поза которого не сулит добра. Такие люди были страшными противниками, и, вероятно, не только у новичков сжималось сердце, когда выпадал жребий биться с ними в паре. Об этом с похвалой упоминается в их надгробиях: "перед ним трепетали все его напарники";

эпитафия одного гладиатора удовлетворенно сообщает, что он "поразил многих смертоносной рукой". Товарищи побаиваются таких и в то же время восхищаются ими; прозвища, которые им даются: «Огонь», "Ожог", «Оса», не злые и не оскорбительные; с гладиаторской точки зрения лестно быть таким бойцом.

Были среди гладиаторов и люди с другой душой. "Слава ли это — убить многих?", — спрашивает один; другой считает своей заслугой, что он щадил противников. Антоний Эксох, принимавший как раз участие в играх, устроенных Траяном, в перечень своих сражений и побед вставляет и тот случай, когда благодаря ему его противника «отпустили» — очевидно, он мог нанести ему смертельный удар, но не сделал этого — пожалел. Дикое неистовство освирепевших товарищей они определяют как "неразумную ненависть". На упомянутом уже помпейском памятнике изображен победитель, который ни единым движением, ни единым жестом не выдает своего торжества. Может быть, он его и не испытывает? В эпитафии одного гладиатора сказано, что

он потерял силу и мужество, потому что вынужден был убить дорогого товарища.

А дружеские связи в этой среде завязывались: есть надгробия, поставленные «другу» или "товарищу и сожителю". В безграмотной и неуклюжей надписи, которую сделал для ретиария Юлия Валериана, "хорошо проживавшего 20 лет и скончавшегося в день своего рождения", его "добрый товарищ, любящий до гроба", дышит подлинное и глубокое чувство. Иногда в гладиаторской школе складывался небольшой тесный кружок: императорский отпущенник Агафокл, врач Большой школы, заготовил надгробие себе, Клавдию — ланисте императора,¹⁷ Примитиву — смотрителю мертвецкой — и ретиарию Телесфору. Вся Большая школа почтила память старожилы школы, пегниария Секунда, скончав-

¹⁷Чрезвычайно любопытное указание. Императоры, видимо, набирали людей для своих «школ» с помощью ланисты-вербовщика. Ланиста бывал и учителем гладиаторов, но в императорских школах учителя неизменно именуются «докторами»: должности здесь строго разграничены.

шегося в возрасте 90 лет.¹⁸

Надписи скупы на выражение чувств; они довольствуются отстоявшимися, тысячекратно повторяемыми формулами, в лаконичной стандартности которых обесцвечивается и теряется голос сердца. Чтобы уловить его невнятный и приглушенный шепот, надо очень и очень прислушиваться, и удастся это только тогда, когда в привычный трафарет врываются слова, им не предусмотренные. «Македону, «фракийцу», новобранцу из Александрии, весь отряд «фракийцев». Жил 20 лет, 8 месяцев, 12 дней». Почему новичок удостоился этой чести? В школе он был совсем недавно, в амфитеатре еще ни разу не вы-

¹⁸ Долголетие это объясняется «профессией» Секунда. Оружием пегниариев были безобидные палки и хлысты, с которыми они и выходили на поединок. После поединка оба противника были в синяках и ссадинах, но смертельных увечий, конечно, не получали (самое название «пегниарий» происходит от греческого слова *paignton* — «шутка», "забава"). Настоящие гладиаторы умирали обычно молодыми. 45 лет, до которых дожил мурмилон Ульпий Феликс, — это самый высокий возраст, упомянутый в надписях Большой школы.

ступал. Полюбился ли гладиаторам юный чужестранец, принесший в их хмурую казарму несокрушимую веселость молодости и живое колющее остроумие александрийцев? Тронула ли их судьба юноши, одиноко умиравшего среди равнодушных людей в чужом злом городе? Жалко ли им стало этого мальчика, который глядел на белый свет только "20 лет, 8 месяцев и 12 дней"? Но все, что их волновало и жгло, они вложили в два суровых слова "весь отряд" — другого способа выразить свои чувства у них не нашлось. И надо признать, что два слова действуют сильнее риторически пышных эпитафий.

Есть еще в жизни гладиатора сторона, о которой мы, к сожалению, знаем очень мало. У гладиатора есть семья; он муж и отец. Иногда он ставит надгробие своей "дорогой целомудренной супруге", но чаще его хоронит жена, иногда жена и дети. Семья была не только у ветеранов, но и у гладиаторов, еще не получивших этого звания. Уходили люди в школу из семьи или женились, уже будучи гладиаторами? Последнее вероятнее. Приходил в жизни гладиатора какой-то час, ко-

гда тиски свирепой дисциплины для него разжи-
мались и он получал право отлучаться из школы
на определенный, более или менее длительный
срок. С каких пор и за какие заслуги пользовал-
ся он этим правом, неизвестно; можно думать,
что давали его людям, в которых были уже уве-
рены, что они не сбегут. Может быть, гладиатор,
обзаведшийся семьей, получал разрешение вооб-
ще жить дома, и он только приходил в школу, как
приходят на работу? Ответить на этот вопрос мы
— увы! — не можем: нет данных.

Были среди гладиаторов люди, которые не
мирились со своей долей. Натуры более тонкие
задыхались в душной атмосфере казармы; гор-
дые, полные чувства собственного достоинства
люди не желали унизиться до того, чтобы стать
предметом развлечения для римской черни. Дви-
жение Спартака началось с гладиаторской шко-
лы; в 64 г. н. э. попытка гладиаторов бежать
из Пренестинской школы (Пренесте теперь Па-
лестрина; маленький городок недалеко от Рима)
всполошила римлян, сразу вспомнивших Спарта-
ка. Сенека рассказывает о двух страшных само-

убийствах в гладиаторской среде. С одного гладиатора не спускали глаз, видимо, ему не доверяли; без сторожа оставался он только в уборной. Он там и удушил себя, глубоко засунув в горло палочку с губкой, употреблявшуюся для самых грязных надобностей. Другого везли тоже под стражей в амфитеатр. Притворившись спящим, он все ниже и ниже опускал голову, пока не просунул ее между спицами колеса — колесо значительно выдавалось над кузовом — и не сломал шейных позвонков. Саксы, попавшие в плен, руками передушили один другого, чтобы только не попасть в гладиаторы.

В одном помпейском доме, где по какой-то причине поселены были гладиаторы, сохранилась любопытная надпись: одно только имя философа Сенеки, выписанное полностью красивыми крупными буквами. Сенека был единственным человеком в древнем Риме, который возмущался гладиаторскими играми и протестовал против них, предлагая правительству бороться с этим "застарелым злом" и "развращенностью нравов". Человек, выведший на стене имя фи-

лософа, был, видимо, знаком с его взглядами. Устав от гладиаторской жизни, от амфитеатра, от грубых товарищей и бессердечной толпы, искал ли он утешения в мысли о том, что есть на свете душа, сочувствующая и жалеющая?

* * *

Гладиаторские бои обычно соединялись с травлей зверей. Первая "охота на львов и пантер" была устроена в 186 г. до н. э. М. Фульвием Нобилиором; по словам Ливия, она по обилию зверей и разнообразию зрелищ почти не уступала тем, которые устраивали в его время. В 58 г. до н. э. эдил М. Эмилий Скавр «вывел» 150 "африканских зверей", т. е. пантер и леопардов. Тогда же римляне впервые увидели бегемота и крокодилов: их доставили Скавру пять штук и специально для них был вырыт бассейн. Сулла в 93 г. до н. э. выпустил на арену "сотню львов с гривами" (т. е. самцов). Животные не были связаны и свободно разгуливали по Большому Цирку (так называлась узкая долина между Палатин-

ским холмом и Авентином, где происходили конские состязания. До постройки амфитеатра здесь обычно устраивали и звериные травли. Длина ее была 600 м, ширина 150 м). Мавретанский царек Бокх, находившийся в дружественных отношениях с Суллой, прислал для этой травли специальный отряд охотников-гетулов, вооруженных копьями и дротиками. Долина была кругом обнесена высокой железной решеткой; ни зверям, ни людям некуда было ни спрятаться, ни убежать; началась страшная охота, в которой были перебиты все львы и не обошлось без человеческих жертв. Цицерон, вспоминая травлю, устроенную Помпеем, писал, что он не понимает, какое удовольствие может получить культурный человек, когда на его глазах мощный зверь терзает слабого человека или когда прекрасного зверя пронзают рогатиной. Большинство держалось иного мнения; конец звериным травлям пришел только в VI в. н. э. Август в числе тех своих дел, которые он счел нужным увековечить в длинной надписи, упоминает, что он устраивал звериные травли 26 раз и загублено на них было 3500 зверей (по 134

каждый раз в среднем).

В звериной травле, которую в 55 г. до н. э. устроил Помпей и на которой присутствовал Цицерон, «гвоздем» зрелища были слоны. Надо сказать, что римляне питали слабость к этим животным (впервые увидели они их во время войны с Пирром, в первой четверти III в. до н. э.); их наделяли высокими нравственными качествами, великодушием, целомудрием, чувством чести. Плиний Старший совершенно серьезно рассказывает, как один слон, которому трудно давались уроки дрессировщика, вытверживал их по ночам; другой выучил греческий алфавит и мог написать целую фразу по-гречески. "В них есть нечто общее с людьми", — писал Цицерон. И когда эти умные и добрые животные после короткой схватки с охотниками-гетулами, посылавшими в них стрелу за стрелой, попытались убежать, а "потеряв всякую надежду на бегство", с жалобным ревом заметались по арене, "словно оплакивая себя и умоляя о сострадании", люди вдруг стали людьми: зрители повскакали со своих мест, громко плача и осыпая Помпея прокля-

тиями, "которые над ним вскоре исполнились", замечает Плиний (Помпей потерпел поражение и был убит в 48 г. до н. э.).

Кроме этих заморских зверей, для охот в амфитеатре приобретали животных европейских и своих италийских: медведей, кабанов, быков, Медведи водились и в Италии (в Лукании и Апулии); привозили их также из Германии, Галлии и даже Испании. Рогатого скота в Италии было изобилие: огромные стада кочевали круглый год с одного пастбища на другое; из этих стад и брали быков для арены. Иногда задача охотника заключалась только в том, чтобы убить разъяренное животное; быка доводили до бешенства, прижигая его каленым железом, дразня его соломенным чучелом, на которое он, освирепев, неистово кидался. Но уже при Цезаре в обычаи амфитеатра вошла "фессалийская охота": охотник верхом на лошади скакал рядом с быком, хватал его за рога и сворачивал ему шею. Тут требовалась и ловкость — сколько раз приходилось увертываться от смертоносных рогов, — и непомерная сила. При Клавдии в моду вошел другой способ: всад-

ники гоняли быков по арене, пока те не выбивались из сил; тогда всадник перескакивал на быка, хватал его за рога, всем своим весом наваливался на его голову и валил быка на землю.

Как обучали будущих охотников в Утренней школе? Никаких сведений об этом не дошло, но представить себе это обучение можно с большой степенью вероятности. Охотник должен метко стрелять и метко действовать холодным оружием; от верного глаза и твердой руки зависит его жизнь, тем более, что ему сплошь и рядом не дают щита, вооружают его иногда копьем или рогатиной, но часто только кинжалом, широким и коротким. И с их помощью охотник справляется со страшными противниками; молодой Карпфор, воспетый Марциалом, убил за один день 20 зверей. Выходил он против дикого кабана, против медведя (тут он действовал рогатиной), против льва, леопарда, быков и зубра. Охотника иногда сопровождали на арену сильные, хорошо выдрессированные собаки. Марциал посвятил стихи собаке охотника Декстра, Лидии, "обученной в амфитеатре" и погибшей "славною смертью"

на арене от "молниеносного удара", нанесенного диким кабаном.

От охотника требуют иногда акробатических трюков. Пресыщенному зрителю надоедает смотреть, как звери падают под меткими ударами копья или кинжала. Надо придать охоте больше остроты, оттянуть время решительного удара. Охотник выходит с шестом в руках один на один против зверя, и в ту минуту, когда тот, припав к земле, уже готов кинуться на человека, он с помощью шеста делает огромный прыжок, перелетает через зверя, становится на ноги и убегает. Обманутыми бывали такие грозные противники, как медведь или леопард. Сохранилась греческая эпиграмма, хорошо передающая трагическое напряжение этой страшной минуты: Прочно шест утвердивши, взметнул свое тело он кверху, Весь изогнулся вперед; схватить его — зверь наготове, Только пронесся над ним человек, легконогий и ловкий, Спасся от смерти охотник, и громко воскликнули люди.

Иногда на арене ставили своеобразную дверь-вертушку: на столб навешивали четыре широкие

двери со вставленными в них крепкими решетками. Двери эти вращались вокруг столба, и охотник, раздражив зверя, прятался за такой дверью, выглядывал сквозь решетку, толкал перед собой вертушку, выбегал из-за одной двери и прятался за другую, «порхая», по выражению очевидца, "между львиными когтями и зубами". По случаю одной травли арену превратили в лес, прочно утвердив в ней большие деревья. Охотник, увернувшись от медведя, взлетает на дерево, но медведь хороший верхолаз и, преследуя врага, он лезет вслед за ним. Как спастись, куда укрыться? Видеть, как жизнь человека висит на волоске, как он всей своей находчивостью, ловкостью и силой пытается оттолкнуть смерть, глядящую прямо в глаза — это захватывало и волновало окаменелые сердца зрителей.

В амфитеатрах устраивали не только звериные травли. Редких, безвредных и обученных животных выпускали на показ зрителям. Искусство дрессировки стояло в древности очень высоко. О дрессировщиках — их называли «приручителями» — говорили, что они "вводят в общение

с людьми медведей, быков и львов, забывших свою свирепость". Способы дрессировки были, вероятно, жестокими; Плиний обронил мимоходом, что слона, которому учение давалось туго, били. Как бы то ни было, но «приручители» доводили своих зверей до того, что "могли жить с ними в дружбе: учитель совал руку в пасть львам; сторож целовал своего тигра". Лучшими учениками оказывались, конечно, слоны, и чему их только не выучивали! Когда Цезарь, справляя свой триумф, въезжал на Капитолий, по обе стороны его колесницы шло сорок слонов с факелами в хоботах. Слоны выступали на арене, изображали из себя гладиаторов, танцевали под звуки бубна, в который ударял один из них; несли вчетвером носилки, в которых лежал слон, представлявший родильницу. Они всходили и спускались по натянутым канатам. На арене расставляли столы и лежа, на которых укладывались люди; слоны присоединялись к ним, пройдя по лежам с такой осторожностью и ловкостью, что никто из лежавших не бывал задет. Львы и тигры ходили под ярмом и везли колесницы, а дрессировщи-

ки времен Домициана обучали львов, поймав на арене зайца, подержать его в пасти, выпустить, опять поймать и снова выпустить. "Лев любит свою добычу, и заяц чувствует себя совершенно спокойно в его пасти", — умилялся Марциал, не упустивший случая польстить Домициану: львы знают, на службе у какого милосердного господина они состоят!

Во времена республики магистраты, которые собирались дать звериную травлю, обращались обычно с просьбой позаботиться о поимке зверей к наместникам провинций, где водились заморские звери. Целий, кандидат в эдилы, не давал покоя Цицерону, упрашивая его прислать ему побольше пантер. Цицерон был тогда (52 г. до н. э.) правителем Киликии; в соседних областях, Памфилии и Писидии, звери эти водились во множестве. "Позаботься об этом, — пристаёт он к почтенному консуляру, — тебе стоит только сказать слово, приказать и распорядиться; как только их поймают, у тебя уже будут мои люди, чтобы их кормить и перевезти. . . "; "стыдно тебе будет, если я не получу пантер. . ." и так из письма в

письмо с июля по сентябрь включительно.

При империи, когда звериные травли вошли в моду и устраивались не только в Риме, но и по другим городам (в размерах, конечно, неизмеримо меньших и обычно не на заморских зверей, а только на тех, которые водились в Италии), охотой на зверей и ловлей их занимались тысячи людей. Покупка и продажа животных составляла крупную отрасль торговли. Кроме местных жителей (а в странах, изобиловавших животными-хищниками, например в Германии, Британии, в М. Азии и Северной Африке, своих охотников было, конечно, много), на охоту посылали иногда и солдат. Медвежатники из I Легиона, стоявшего около нынешнего Кельна, поймали за шесть месяцев 50 медведей. Они были освобождены от всех лагерных работ и занимались одной охотой.

Задача охотника усложнялась тем, что он должен был взять животное живым. Копали ямы, сажали туда козу или поросенка; голодный зверь шел на их голоса и оказывался в ловушке. Ставили тенета, устраивали облавы. Пленников, опутанных веревками и цепями, сажали в крепко

сколоченные клетки и отправляли в Рим. Европейские звери ехали сушей медленно, на волах; африканские животные должны были переехать Средиземное море. Весь этот путешествующий зверинец надо было кормить. Если зверей везли императору, то забота об этом лежала на городах, через которые караван проходил. Повинность эта была тяжкая; еды требовалось много. Льву нужно в день 3 кг мяса. А если этих львов было много? А если проводники решили задержаться, как это случилось однажды во фригийском городе Гиераполе, где караван простоял четыре месяца? Возможно, задержка эта была вызвана состоянием животных, трудно переносивших переезд. Бывали случаи, что животные во множестве погибали в пути или приезжали на место больные и обессилившие. Еще труднее было везти детенышей, которых иногда, убив мать, охотник забирал из логова. С ними бывало немало возни: для дрессировки больше всего годились именно они, но вопрос с кормежкой стоял тут особенно остро. Малышам требовалось молоко. Приходилось обзаводиться стадом коз или

коров, о прокормлении которых надо было тоже подумать; нужно было нанять людей для ухода за скотом. Начальники каравана не знали, вероятно, покоя ни днем, ни ночью.

Между гладиатором и охотником есть существенная разница: охотник идет на зверя; победу и славу ему приносит не убийство человека, а гибель животного, страшного и хищного. Зрители отчетливо сознают эту разницу. "Охота заслуживает всяческой похвалы", вместо гладиаторской бойни "она предлагает зрелище, где искусство и разумное мужество противопоставлены неразумной мощи и силе", — писал автор трактата "О разуме животных", включенного в нравоучительные сочинения Плутарха. "Охотник творит изумительные дела, мудростью побеждая природу зверя", — писал Либаний. Охота на арене, так же как и настоящая, была для древних чистой школой мужества и его демонстрация.

Глава десятая. МИМЫ, АКРОБАТЫ И ФОКУСНИКИ

Мимы

Маленький городок. На ступеньках храма сидит несколько человек, по одежде судя, — бедняки. Разговор не клеится; у каждого своя дума и своя забота. У бедного человека всегда много забот и всегда тревога, заработаешь ли завтра на хлеб, сможешь ли вовремя отдать долг. Каждый думает о своем, но все об одном и том же, и все больше и больше хмурятся лица. И вдруг неизвестно откуда, словно из-под земли выросли, появились несколько человек, от одного взгляда на которых становится смешно: коротенькие плащики, сшитые из разноцветных лоскутьев, сверху наброшен квадратной формы женский платок, едва достигающий до бедер; к ногам привязаны такие тонкие подошвы, что ноги кажутся босыми. Лица распи-

саны пестрыми красками, и сделано это умно и умело: линии проведены и краски подобраны так, что сразу определишь основные свойства обладателя такой физиономии. И с этих размалеванных лиц глядят хитро и насмешливо такие умные глаза! "Мимы, пришли мимы!", и люди уже улыбаются, глядя на эти потешные фигуры; по площади уже перекатывается смех, и из домов, из мастерских, бросив работу и не доев бедной похлебки, сбегаются поглядеть на представление мужчины и женщины, старики и дети.

Мимы не теряют времени. Тут же на площади, без всяких подмостков, без всякого театрального реквизита разыгрывают они маленькие, живые, веселые сценки, содержание которых взято из быта тех самых простых и бедных людей, которые густой толпой окружили актеров. Бойкий диалог, веселые реплики, смешные вопросы, комические ситуации, фейерверк острот, много шума, крика, беготни, драки; зрители помирают со смеху. Люди, у которых час назад опускались руки, разойдутся, повеселев, приободрившись, словно спрыснутые живой водой волшеб-

ного источника. Шутовски одетым, смешно разрисованным актерам дана власть снять на какой-то час ярмо повседневных забот и печалей. Смех, веселый, беззаботный смех вливал силы, животворил и укреплял. А чудотворцы, презренные, откинутые законом в число подонков общества, собрав гроши, которыми в меру своих небогатых возможностей оделили их зрители, и перекусив в ближайшей харчевне, отправлялись дальше, все не подозревая, что они совершили чудо и будут творить чудеса и в дальнейшем.

* * *

Мимом (и само произведение, и актеры, его исполнявшие, именовались одинаково "мимами") назывались небольшие бытовые сценки, которые обычно писали сами актеры — часто талантливые импровизаторы. Сценки эти разыгрывали на улицах и площадях городов и селений, в харчевнях и частных домах. Сулла был большим любителем таких представлений; актеры-мимы не выходили из его дома. Приблизительно к это-

му времени пьески "уличных мимов" с импровизированным диалогом и наспех придуманным очень несложным действием начинают получать литературную обработку, и мим превращается в театральное представление, которое обязательно ставится после трагедии, чтобы, как объясняет схолиаст к Ювеналу, "смехом стереть печаль и слезы, вызванные трагедией". Уже к половине I в. до н. э. мим прочно утвердился на сцене, удержался на ней в течение всей римской империи, пережил ее крушение, уцелел среди всех бурь варварского нашествия и появился в Италии под новым названием *comedia del' arte*.

Ни одного из ранних мимов не дошло до нас целиком; уцелели отдельные слова и жалкие обрывки в две-три строчки. По заглавиям, однако, видно, что сюжеты для мимов авторы брали из повседневной жизни рабочего люда, сельского и городского (преимущественно последнего): «Красильщик», "Торговец тряпьем", "Уличный праздник", «Сукновал», "Бедность". "Мимы получили свое название от изображения (буквально — «подражания»): слово «мим» происходит

от греческого *mimesis* — «подражание», — М.С.) ничтожных событий и низких лиц", — так определял эти произведения древний историк литературы. По отдельным замечаниям, разбросанным у писателей, удалось приблизительно восстановить содержание некоторых более поздних мимов. Большим успехом пользовался мим, названный по имени знаменитого разбойника Лавреола, этого Фра Диаволо древнего Рима. Написан он был неким Лентулом (первая половина I в. н. э.), мимическим актером, и пришелся римской публике очень по вкусу: его ставили еще в III в. В миме было представлено, как раб Лавреол убегает от своего хозяина, прибивается к шайке разбойников, становится их атаманом, но в конце концов попадает в руки солдат и умирает на кресте.¹⁹ Сюжет, по существу трагический, автор сумел повернуть так, что он предстал перед

¹⁹ Домициан решил поставить этот мим «всерьез». В сцене распятия на крест подняли разбойника, осужденного на смерть. Медведь кинулся на несчастного. Марциал описал эту казнь с ее ужасающими подробностями.

зрителями в ряде комических и веселых сценок. Одну из них мы знаем: раб, убегая, запнулся, упал, разбил себе рот и стал плевать кровью. Его преследователи вместо того, чтобы гнаться дальше, остановились и "стали наперерыв показывать свое искусство": плевать кровью на подмости. Можно представить себе, как разыгрывалась эта сценка: один старается плюнуть дальше другого, бьются об заклад, спорят, толкаются, вслух обсуждают, чем бы подкрасить слюну; кто-то падает и делает вид, что он всерьез расшибся, и его осыпают насмешками товарищи. Прodelки Лавреола, ловкость, с которой он грабит путешественников, искусство, с которым водит за нос своих преследователей — все это можно было разработать в тонах, весьма комических. Известны названия двух мимов, написанных Кв. Лутацием Катуллом, современником императоров Клавдия и Нерона: «Привидение» и "Беглый раб". Первый Ювенал называет «крикливым»: на сцене, видимо, стоял непрерывный вопль, дико ревелo мнимое привидение, орали перепуганные люди, от него убегавшие. Что ка-

сается "Беглого раба", то комизм положений заключался в том, что хитрый раб-лицемер сумел втереться в доверие к хозяину и так обвести его, что тот во всем и всегда следовал только указаниям раба, который под видом заботы о своем господине действовал на пользу себе и в ущерб хозяину.

Большой популярностью в конце I в. н. э. при императоре Домициане пользовался мим, содержание которого можно восстановить, но заглавие и автор которого остаются неизвестными. Молодая женщина, вышедшая замуж за старого глупого ревнивца, влюбилась в красивого юношу. Ловкий пройдоха-раб устроил влюбленным свидание в доме, где живет молодая жена со своим мужем. Все идет благополучно, но вдруг неожиданно-негаданно в двери кто-то стучится. Общее замешательство, стук все сильнее и сильнее — что делать, куда деваться? В отчаянии жена запихивает любовника в сундук. Открывают двери, но входит не муж, а сосед, зашедший переговорить о деле с мужем. Вместо того, однако, чтобы повернуться и уйти, не застав нужного че-

ловека, он остается, сидит и сидит. Догадывается о чем-то? Пронюхал что-то? Молодая женщина не находит себе места, несчастный любовник начинает задыхаться в сундуке. Гость, наконец, уходит, любовник вылезает на свет божий, но не успел он еще как следует отдышаться, как появляется муж. Налицо все улики, муж бросается с кулаками на изменницу и ее любовника, но жена пускает в ход все свои чары, всю силу своего обаяния — и достигает своего — глупец перестает верить собственным глазам: он убедился, что жена любит его, что она ему верна, и мим заканчивается дружеской беседой между мужем и любовником.

Сюжет этот, неоднократно повторенный с разными вариациями в мировой литературе от апулея "Золотого осла" до "Ночи перед Рождеством" у Гоголя, мим разрабатывал так, что в руках умелых актеров он превращался в комическое действие ослепительного блеска. Какие богатые возможности давала та сцена, где насторожившийся посетитель упрямо не уходил! Жена, не помня себя от страха, молола всякий вздор голо-

сом, поднимавшимся до оглушительного крика, лишь бы заглушить подозрительные звуки, доносившиеся из сундука. А развязка! Все уловки жены, убедившей мужа, что она чиста и невинна; непроходимая глупость бедного ревнивца, его дружба с любовником — было над чем посмеяться. При Домициане роль злополучного любовника играл мим Латин, великолепный комический актер, о котором Марциал, его современник, писал, что он заставил бы глядеть на себя Катона, а Куриев и Фабрициев (представителей старинной строгости и чистоты нравов) забыть свою суровость. Напарницей Латина на сцене была мима Фимела, блестяще исполнявшая роль лукавой обманщицы-жены.

Целью мима было смешить, увеселять зрителей, и он не был разборчив в средствах: ему нужно только достигнуть цели. Он использует приемы балаганного шутовства; крики, беготня, потасовки, оплеухи — без этого не обходится мим. К актеру, исполняющему главную роль, всегда приставлен его двойник, повторяющий его слова, движения и жесты. За это он получает пощечину

за пощечиной. Комизм мима груб; его остроты часто непристойны. Цицерон предупреждал оратора, чтобы он не позволял себе таких шуток, которые уместны только в миме; Гораций писал, что он не может восхищаться мимами: "Заставить зрителя хохотать во все горло — этого мало". Мим скользит по поверхности, он бездумно весел; не его дело задумываться над серьезной стороной явлений. Он выбирает легкое и смешное. Вот больной, проснувшийся от летаргического сна; он не может прийти в себя, не понимает, где он и что с ним. Вдруг ему представляется, что он кулачный боец; больной кидается на своего врача — врача-то он вспомнил! — и начинает его тужить. А вот еще "лицо из мима": бедняк, на которого внезапно свалилось богатство; он совершенно потерял голову и давай кутить напропалую. Умелый актер мог, конечно, разыграть эти нехитрые сцены так, что в театре стоял несмолкаемый хохот.

Иногда мим берет сюжеты мифологические и выворачивает их наизнанку: на сцене появляется прелюбодей Анубис; Диану секут; читается

завещание скончавшегося Юпитера, издеваются над голодным Гераклом. Юпитер "величайший сильнейший" появлялся на сцене в таком виде, что зрители покатывались со смеху: обросший, в коротенькой одежонке наподобие женской мантильки, с деревянной молнией в руке — как не хохотать! Глупость бывает смешна, и мим весело и беззаботно демонстрирует ее зрителям в разных видах и аспектах — от глубокомысленных отдельных замечаний вроде "пока он ездил на воды, он ни разу не умирал" или "если ты не беременна, ты никогда не родишь" до целого произведения, построенного на том, что действующие лица не могут схватить смысла фразы, а понимают каждое слово буквально. Цицерон помнил "этот старый, очень смешной мим". Историю обманутого мужа и неверной жены мим представляет очень часто, и mimoграфы перерабатывают ее на разные лады; ее любят именно потому, что в очень уж смешном виде здесь представлен дурак-муж. Сам Август спокойной смотрел, по словам Овидия, на "прелюбодеяние на сцене", а его-то уж никак нельзя считать пота-

ковщиком того, что разрушает семью и уничтожает святость брака. Миму не полагалось вдумываться в сущность явлений; под его веселым текстом никогда нет того второго, скрытого плана, который вдруг неожиданно выбивается наверх с грозным окриком "над кем смеетесь? Над собой смеетесь!".

Комизм в ситуациях и в действующих лицах особенно подчеркивала игра, в которой большое значение имели буйная, смешная жестикуляция и потешные гримасы (актеры в мимах в противоположность актерам трагедии и комедии играли без масок). На комический эффект рассчитан был и язык мима, грубый, простонародный, часто сбивающийся на уличный жаргон. Мим называл вещи своими именами, выбирая наиболее хлесткие, не боялся крепких словечек и был очень щедр на непристойные сцены. Недаром в Массилии (нынешний Марсель), которая славилась строгостью и чистотой своих нравов, запрещена была постановка мимов, а церковные писатели называли их прямо "училищем порочности".

Мы упоминали о миме Фимеле, игравшей вместе с Латинном. Присутствие в актерской труппе женщины отличает труппу мимов от всех остальных актерских трупп древности. И в Греции, и в Риме, и в трагедии, и в комедии женские роли исполнялись мужчинами, и только в мимах женщин играли женщины. Стоит задержаться на этих актрисах, тем более что о некоторых из них мы имеем сведения документальные.

Мимы обычно были отпущенницами. Чтобы попасть на сцену, надо было обладать определенными качествами: голосом — действие мима разнообразилось пением песенок, — грацией: танцы обычны в миме (некоторых актрис называли даже «танцовщицами»: вероятно, в танцах они были сильнее, чем в игре) и — первое условие — комическим талантом и умением держаться на сцене. Мимы-женщины (как и мужчины, конечно) должны были пройти определенную школу; мы не знаем, где и как они обучались, и может по этому поводу только высказывать предположения, имеющие, правда, большую степень вероятности. В большинстве случаев актерская про-

фессия была наследственной и в качестве учителей оказывались отцы и матери, иногда их друзья и сотоварищи. Случалось, что хозяин, подметив способности своей рабыни, отдавал ее в учение актерам. Кроме сценических дарований, хорошо было иметь способности, которые облегчали жизнь: следовало быть записной кокеткой и уметь кружить головы. Мимы владели этим умением, по-видимому, в совершенстве; молодежь разорялась на них, как у нас когда-то богатые бездельники разорялись на цыганок.

Случалось, что миму, если ее добром не отпускали из труппы, похищал влюбленный юнец; власти на такие проделки смотрели сквозь пальцы. Мима Терция, по уверению Цицерона, была в Сицилии более влиятельна, чем сам Веррес, наместник острова. Он увез ее от мужа, какого-то родосского флейтиста, и она быстро сумела прибрать его к рукам. Гораций вспоминал некоего Марсея, который истратил на свою любовницу, миму Оргину, все отцовское состояние. Для характеристики нравов высшего римского общества конца республики много поучительного дает

история мимы Кифериды. Она была отпущенницей и любовницей римского всадника Волумния Евтрапела, приятеля и собутыльника Антония, будущего триумвира. Был это неистощимый остролов и шутник, обладал большим богатством, был ненасытно жаден и никакими нравственными соображениями себя не стеснял. Цицерон находился с ним в добрых отношениях и, приглашенный однажды к нему на обед, очутился в обществе Кифериды. По староримским понятиям, ввести в общество порядочных людей как равную им свою любовницу, отпущенницу и вдобавок еще миму было поступком предельно неприличным, и знаменитый оратор почувствовал себя неловко. "Клянусь Геркулесом, — писал он одному своему приятелю, — я не подозревал, что она будет присутствовать за обедом. . . ". Скоро предприимчивая отпущенница нашла себе более высокого покровителя: перешла от Волумния к его приятелю Антонию. В 49 г. до н. э. Цезарь находился в Испании, и Антонию пришлось с его поручениями объездить ряд городов. Путешествие это он совершил в сопровождении Кифериды.

Цицерон отвел душу, описывая эту поездку: "В повозке ехал народный трибун, впереди шли ликторы в лавровых венках,²⁰ окружавшие носилки, в которых несли миму. Почтенные жители городов, обязанные выходить навстречу, приветствовали миму, называя ее не сценическим громким именем, а Волумнией". Рассказ этот чрезвычайно интересен. Киферида приобрела известность, вышедшую далеко за пределы Рима; историю ее, видимо, знали чуть ли не по всей Италии. "Почтенные горожане", встречавшие Антония, прекрасно понимали, что с ним шутки плохи; выход своему негодованию можно было дать только в той форме, к которой нельзя было придраться. Обратиться к Кифериде «Волумния» было вполне естественно и пристойно, но яда тут было хоть отбавляй! Этим именем ей напоминали, во-первых, что она вчерашняя рабыня, а во-вторых, косвенно осуждали ее поведение: отпущенница Волумния, обязанная почтением и преданностью

²⁰ Антонию, как народному трибуну, ликторов не полагалось.

своему патрону, его бросила и ему изменила (стоит отметить, что уже тогда у актеров было в обычае давать себе придуманные, сценические имена). В следующем году после битвы при Фарсале Киферида встретила Антония в Брундизии (теперь Бриндизи), и они вместе через ряд городов проехали к Риму. "Ты поспешил в Брундизий в объятия своей дорогой мимы, — негодовал Цицерон. — Если тебе не стыдно было жителей городов, через которые ты проезжал, то неужели не устыдился ты старых солдат!". Плутарх и Плиний Старший рассказывают, что повозку, в которой Антоний ехал с Киферидой, везли львы. "Ехать так с мимой — это превосходило даже чудовищные бедствия того времени!" — искренне возмутился Плиний (надо думать, что львов придумали позже; если бы Антоний со своей мимой ехали действительно на львах, Цицерон не упустил бы такой красочной подробности. Поездка Антония вызвала, видимо, такое возмущение и столько разговоров, что в ткань истинного происшествия начали произвольно вплетать подробности вымышленные).

Актрисы-мимы, как видим, строгой нравственностью не отличались: Гораций прямо ставил знак равенства между ними и уличными женщинами. Фимела, о которой речь была выше, не смущаясь, разыгрывала самые нескромные сцены; рассказ Прокопия о том, что вытворяла на сцене мима Феодора, будущая супруга Юстиниана и византийская императрица, перевести невозможно. О мимах-мужчинах мы знаем меньше: ни один не оставил по себе в памяти такого яркого следа, как Киферида. Схолиаст к Ювеналу, вспомнив Лентула, автора «Лавреола», замечает, что "Лентул был достоин настоящего креста: превосходный актер, был он человеком гнусным". Марциал попытался написать апологию Латина, разыгрывавшего непристойнейшие сцены (сам поэт оправдывался перед своими "целомудренными читательницами" ссылкой на то, что его стихи несколько не бесстыднее мимов, где выступает Латин): "В моей жизни ничто не походило на сцены, представляемые мною в театре. Человек сцены, я славен только моим искусством. Я не был бы приятен владыке (Доми-

циану), не обладай я добрыми нравами". Стихи эти скорее всего ставили косвенной целью оправдать Домициана, приблизившего к себе Латина. Последний был вхож во дворец, рассказывал Домициану за обедом о всяких городских происшествиях и в эту безобидную болтовню вставлял свои доносы. Был он одним из самых страшных доносчиков того страшного времени. Других подробностей из его жизни мы не знаем. Никаких биографических подробностей не дают и надгробные надписи мимов. Следует, однако, задержаться на одной из них. "Лонгин Макк сладостно прожил со своими до последнего дня". Имя «Макк» сразу воскрешает в памяти родословную мима. Он был прямым наследником народного италийского фарса, известного под названием ателланы. Темы для своих бойких коротеньких сценок ателланы брали из повседневной простонародной жизни. Играло в них четверо актеров (не обязательно все сразу): Папп, влюбленный старик, которого все обманывают; Доссен, горбатый шарлатан, напускающий на себя ученый вид; ненасытный обжора и неумолчный

болтун Буккон; отпетый дурень Макк. Очень вероятно, что мим завладел всеми этими четырьмя фигурами; относительно же Паппа и Макка это можно смело утверждать. Папп появился в миме в старой своей роли глупого обманутого мужа, а Макк — в роли неперемного спутника главного актера, который во всем ему подражает — своих слов и жестов у него нет — и за постоянную назойливую имитацию получает оплеуху за оплеухой. Ему дано в миме только другое название: его зовут просто «дураком». По всей видимости, Лонгин играл в мимах именно эту роль и сознательно выбрал для себя прозвищем старое имя дурака из ателлан.

Из надписей получили мы драгоценные сведения о союзах, профессиональных обществах, в которые входили мимы. Союзы эти назывались «коллегиями», "корпусами", «коммунами». В одни из них входили все работники сцены: актеры, трагические и комические; музыканты, флейтисты, кифареды и скабиллари (они получили свое имя от особого инструмента *scabillum*, с помощью которого отбивали такт). Надпись из Бо-

вилл (маленький городок в Лации), относящаяся к 169 г. н. э., знакомит нас с одним из таких союзов.

Во главе его стоит архимим ("начальник мимов"). Нашего архимима зовут Л. Ацилий, сын Луция, Евтих: он сын отпущенника, грек происхождением, о чем свидетельствует его прозвище Евтих ("счастливый"). Он давно состоит членом союза мимов и занимает в нем почетную должность главы. Вел он себя на этом месте так, что его, первого, актеры называли «отцом» и, сложившись, поставили ему статую "за его попечительность и любовь к ним". Сценическая карьера его была многообразной; надпись называет его "паразитом Аполлона, трагиком и комиком". Прежде всего следует помнить, что слово «паразит» имело значение почетное, так называли тех жрецов, которые имели право принимать участие в жертвенной трапезе. Быть "паразитом Аполлона" — значит быть удостоенным дружбы и застолья бога, покровителя всех искусств. Евтих пробовал свои силы и в трагедии, и в комедии и, видимо, решил, что талант его — это талант

комика. Был он в театральной среде человеком известным: "его знали и чтили актеры всех союзов". И не только актеры: он был декурионом, т. е. членом городского совета в Бовиллах.

Труппа его состояла из 60 человек, судя по именам, это были отпущенники или сыновья их, а если свободнорожденные, то из низов. Не все в этом «стаде» (обычное название актерской труппы "grex") были, конечно, актерами: сюда входили и музыканты, и театральные служители. Интересно, что в списке труппы нет ни одного женского имени, а мы знаем, что женщины играли в мимах и в надписях упоминаются даже женщины-архимимы, "директрисы труппы". Случайно отсутствие женских имен в надписи Евтиха, или были отдельные труппы, мужские и женские, объединявшиеся для представлений, но в остальном ведущие, как союз, жизнь особую и самостоятельную? На последнее соображение наводит одна мысль, упоминающая погребальную коллегия не целой труппы, а только мим-женщин.

Говоря о мимах, следует упомянуть еще так называемых ареталогов и «биологов». Первые

были рассказчиками и, надо думать, мастерами рассказа: Август любил приглашать их на свои званые обеды, чтобы развлекать гостей. Они были неистощимы на выдумки, всевозможные преувеличения и прикрасы; Ювенал называет их «лжецами», а схолиаст к Горацию — «болтунами». Входили эти веселые сказочники в состав труппы мимов? Действовали они на свой страх и риск, ни с кем не объединяясь? Ничего, к сожалению, сказать нельзя.

"Биологами" называли искусников, умело кого-нибудь представлявших. Было у них и другое имя: «этологи» (от греческого????? — "нрав"). Представлять можно было по-разному: копировать только внешнее, т. е. манеры, голос — так, вероятно, изображал погонщиков мулов и рыночных зазывал раб одного из гостей Тримальхиона, которого хозяин рекомендовал как "мастера на все руки". Можно было, однако, изобразить "внешнего человека" так, что вся его манера держать себя оказывалась оболочкой, тонким покровом, сквозь который просвечивало самое существо. Virtuозы этого дела умели сра-

зу "одними устами говорить за многих". "Тот, чей облик был повторен (буквально «удвоен», — М.С.) мной, содрогался: я был им больше, чем он сам. Сколько раз женщина узнавала себя в моих движениях, краснела и содрогалась", — говорит о себе мим Виталий. У Тиберия был раб, "немой и красноречивый", который "первый стал копировать адвокатов". Он назван в надписи забавником, шутком императора. Человек этот (имя его неизвестно) обладал блистательным комическим талантом и незаурядной наблюдательностью, его имитация адвоката, совершенно безмолвная, построенная только на жестах и выражении лица, была так превосходна и так запечатлелась в памяти, что о ней не забыли упомянуть в надгробной надписи.

Хороший «биолог» был, конечно, желанным в труппе мимов. Может быть, он к ней иногда и присоединялся. Но, насколько можно судить по надписям, они держались особняком и в состав труппы как ее постоянные члены не входили.

Гораций, говоря о тех, кого опечалила смерть певца Тигелла, называет сирийских танцовщиц,

продавцов лекарств (это были шарлатаны первой статьи), нищих, шутов и мимов. Это характерно: место мимов в самом низу общественной лестницы; их профессия считается бесчестной. О мимах-женщинах закон говорит: "... рожденные от этих подонков общества". В представлении римлян еще конца республики выступить мимом на сцене — значило обесчестить себя, потерять свое гражданское достоинство. В древности широко была известна история Лаберия, римского всадника, сочинявшего мимы. Обладал он несомненно и большим талантом артиста-комика, который и демонстрировал в домашнем и дружеском кругу. Это было известно, и Цезарь предложил Лаберию выступить в театре в соревновании с другими актерами, обещая 500 тыс. сестерций и золотое кольцо для восстановления во всадническом звании. Лаберий не осмелился ответить отказом; на сцене произнес он свой знаменитый пролог, где жаловался на свою участь: "Я, шестьдесят лет проживший безупречно, вышел сегодня из дому римским всадником и вернусь мимом! Да, на один этот день прожил я дольше, чем

мне следовало жить". Неподдельная, едкая горечь этих слов достаточно говорит о том, каким презренным существом был актер-мим.

С мимами, однако, произошло то же самое, что с гладиаторами: презренные отверженцы, лишённые гражданской чести, они славны и любимы. Им ставят статуи; мы видели, что архимим Евтих в обход всех законов состоял членом городского совета. Плутарх рассказывает, что Сулла в молодости водился с мимами, и они составляли его излюбленное общество и тогда, когда он стал всесильным диктатором. Архимим Соракс был ему близким другом. Мимы были своими людьми при дворе. Когда Иосиф Флавий хлопотал об освобождении нескольких иудейских священников, он обратился за помощью к своему соотечественнику Алитуру, известному миму. Тот представил его императрице Поппее, и бедных стариков освободили. Уже знакомый нам Латин был постоянным застольником и собеседником Домициана. Марк Аврелий жаловался, что мимы мешают людям заниматься серьёзными делами, например философией. Его соправитель Лу-

ций Вер, вернувшись после парфянского похода в Рим, привез с собой такое количество всяких артистов и в том числе мимов, что ходовой стала насмешка: император вел войну не с парфянами, а с актерами, и пленными привел именно их.

Мимы были любимы не только при дворе и в аристократических кругах; их очень любил народ. С мимами в его жизнь, неустроенную, трудную и для работника, не знающего передышки, и для бездельника, бесприютного и полуголодного, входили отдых, веселье, смех. Дион Хризостом писал, что честолюбец, который желает приобрести симпатии народа и с этой целью устраивает для него превосходное угощение, ничего не добьется, если на этих пиршествах не будут выступать фокусники и мимы. От императоров требовали не только хлеба, но и театральных зрелищ. Со II в. они представлены главным образом мимами (столь излюбленные пантомимы были только их разновидностью). И среди императорских указов появляются такие, которые "со всей настоятельностью повелевают актрисам-мимам заниматься своим делом, дабы римский народ не

был лишен привычных развлечений".

Трудно говорить о мимах как о людях; то, что мы знаем о нескольких, не дает права говорить обо всей корпорации, тем более, что члены ее располагались по ступеням очень высокой лестницы, имущественной и артистической. Были среди них и богачи; мима Дионисия, по словам Цицерона, зарабатывала 200 тыс. сестерций в год; в эпитафии Виталия сказано, что он приобрел в Риме просторный дом и составил большое состояние благодаря своему таланту. Были, конечно, и бедняки. Были превосходные артисты, гордость комической сцены; были и просто грубые шуты. Некоторая общность умонастроения и нравов роднила, конечно, всех. Вряд ли их поведение в жизни отличалось таким же бесстыдством, как на сцене, но трудно представить их хранителями строгой нравственности. В большинстве своем это были легкие и талантливые люди: моральными соображениями они себя не отягощали, были очень наблюдательны, гнались за успехом и славой, принадлежали к той породе, о которой говорится, что "ради красного словца

не пожалеет и отца"; были остроумны и злоязычны.

Писанный текст мима всегда оставлял широкий простор для импровизированных вставок, и актеры-мимы пользовались этим, чтобы превратить совершенно аполитичное произведение о дураке-муже и развратнице-жене в злободневную вещь. И тут актер уже не знал удержу: пусть весь мир трепещет перед императором — мим его не боится. Этот презренный, обесчещенный человек бросает владыке мира со сцены такие слова, что зрители задыхаются от восторга и ужаса. Лабений отомстил Юлию Цезарю в тот самый раз, когда тот заставил выступить его на сцене. Играя роль раба, которого собирались выпороть, он закричал: "Квириты! свободу теряем" — и затем добавил: "Придется всех тому бояться, кого боятся все". Сказано это было так, что все обернулись на Цезаря. Августу пришлось стерпеть очень двусмысленную шутку по своему адресу. При Тиберии дело об "актерской дерзости" дошло до сената: мимов, не стеснявшихся в выборе слов по адресу каких-то крупных магистратов, попробо-

вал остановить с помощью своих солдат трибун преторианской когорты. Народ возмутился; дело дошло до драки, с обеих сторон оказались убитые. Предложено было дать преторам право наказывать актеров розгами. Предложение не прошло — "божественный Август, — рассказывает Тацит, — некогда постановил, чтобы актеры были избавлены от телесных наказаний, и Тиберий не смеет преступать его слова". Тиберию пришлось уступить. Эпитет "старого козла", данный ему в одной ателлане (мы говорили о близком родстве ателланы и мима), облетел весь Рим; повторяли его с большим удовольствием. После отравления Клавдия и убийства Агриппины (Нерон попробовал сначала утопить мать, подстроив гибель судна, в котором она направлялась к себе домой), мим, пропев "будь здоров, отец! будь здорова мать!", изобразил в живой жестикуляции пьющего и плавающего человека, "намекая на то, как погибли Клавдий и Агриппина", а затем указал на сенаторов и пропел "Орк уже тащит вас за ноги". Нерон не осмелился казнить смельчака и только выслал его из Италии. Марк Аврелий

относился очень терпимо ко всем похождениям своей жены и даже осыпал почестями ее любовников. Однажды он застал ее за ранним утренним завтраком с неким Тертуллом, но по обыкновению сделал вид, что ничего особенного не случилось (к утреннему завтраку приступали обычно сразу же после вставания, т. е. на рассвете). История эта быстро стала известной всему Риму и появилась на сцене в таком виде: игрался излюбленный мим о глупом обманутом муже; глупец спрашивает раба, как зовут любовника жены, раб отвечает: «Тулл»; спрошенный в третий раз, он нетерпеливо восклицает: "Я же сказал тебе трижды: «Тулл» (по латыни *ter Tullus* = *Tertullus*).

С Марком Аврелием можно было шутить такие шутки: он их милостиво спускал. Но Максимин (III в.) был человеком страшным. В ненависти к нему объединилось все население: сенат, города, сельское население и даже солдаты, которым он вообще покровительствовал. И в его присутствии мим осмелился спеть такую песенку (правда, на греческом языке; Максимин по-гречески не понимал ни слова): "Кого невозмож-

но убить одному, того убивают многие. Слон велик, а его убивают. Лев силен, а его убивают. Тигр силен, а его убивают. Остерегайся множества людей, если в отдельности никого не боишься". (Страшный смысл этих стихов становится еще яснее, если вспомнить, что Максимин считал себя всегда в полной безопасности, полагаясь на свой огромный рост и непомерную физическую силу). Песенка была встречена неистовым одобрением; насколько она пришлась всем по сердцу, видно из того, что никто не выдал дерзкого актера: Максимину сказали, что это стихи из комедии, обращенные к старому ворчуну. Легкомысленные лицедеи оказались единственными, кто осмеливался говорить в такое время, когда все молчали.

Стоит рассказать еще одну историю, правда из времени значительно позднейшего. Дело происходило в Константинополе при императоре Феофиле (IX в.), который славился своей до жестокости доходившей справедливостью.

Один высокий сановник, по имени Никифор, отнял у какой-то вдовы довольно большой ко-

рабль с товарами. Добиться правды ограбленная женщина никак не могла, потому что другой сановник не допускал ее к императору. Тогда вдова обратилась к мимам. На ближайшем же представлении император с изумлением увидал, как несколько мимов поставили перед его местом маленький кораблик. "Раскрой пасть, — обратился один к другому, — и проглоти суденышко". — "Я не могу!". — "Чепуха! Префект Никифор проглотил у вдовы большущий корабль, да еще со всем грузом, а ты не можешь сглотнуть эту мелочь". Император потребовал объяснения, и оба сановника были казнены страшной казнью: их сожгли. Вдова получила обратно свое имущество.

При своей внимательности к современной жизни мим не мог пройти мимо христианства. «Христианин» стал новой фигурой, которую присоединили к старым, давно унаследованным типам мима. С богами языческого пантеона мим расправлялся со свойственной ему безудержной дерзостью; тем менее было для него основания щадить новую, чуждую, религию. На христиан сочиняются едкие и веселые песенки, "которые

распевают повсеместно и во всякое время, на площадях, на пирушках, в веселье и в печали". Осмеиваются христианские таинства, крестная смерть Христа, церковные служители. Их одевают в непристойные одежды и устраивают на сцене пародию христианских таинств. Император Юлиан пользовался мимами как своеобразной пропагандой против христианства. Немудрено, что церковные писатели мечут против мима грома и молнии. Театр объявляется вотчиной сатаны, а мимы — его мистериями. Нельзя смотреть мимы и остаться чистым. Мимы — это "огненная вавилонская печь", которую топит сам сатана. Иоанн Златоуст обрушивался на мимы со всем пылом своего огненного красноречия. Напрасно! Мимы продолжали оставаться излюбленным зрелищем; люди толпами валили поглядеть на любимых актеров, и тут ничего не могли поделать ни пламенные проповеди, ни суровые постановления церковных соборов.

Интересна апология мима, которую написал современник Юстиниана, софист Хорикий. Был он уроженцем и жителем Газы, веселого фини-

кийского города, где мим любили и от нападков на него морщились. Хорикий рассчитывал на сочувствие своей аудитории, когда, пренебрегая церковными проклятиями, публично произнес свое "слово об изображающих жизнь в театре Диониса".

Мим обвиняют в том, что он смешит. Но смех — это дар богов. Человека от неразумных животных отличает то, что он умеет говорить и смеяться. В миме бывают представлены и ложь, и прелюбодеяние, и нарушение клятвы. А разве их не бывает в жизни? Мим только «подражает» жизни, а это «подражание» (*mimesis*) есть основа всех искусств: и поэзии, и скульптуры, и живописи. Нельзя говорить, что мимы отвлекают ремесленников от работы и делают их бездельниками (прямой намек на Иоанна Златоуста). Человек не может все время работать: отдохнув, "унося из театра след улыбки", он возьмется за работу прилежнее и веселее. Все люди, не только его сограждане, любят мим. Неужели все ошибаются?

Акробаты и фокусники

Цирка в нашем смысле в древнем Риме не было. Акробаты и фокусники показывали свое искусство где придется: на театральной сцене, в долине, где происходили конские бега (она называлась Большим Цирком), просто на улицах и площадях или на обочинах больших дорог, где всегда было движение и множество людей, а следовательно, могли оказаться и зрители.

Акробатическое искусство древности было очень многообразно, и представлено оно было разными специалистами. Среди них видное место принадлежит канатоходцам. Акробат не только ходил, он танцевал на канате, разувался и снимал одежду, "словно собираясь лечь в постель". На одной фреске из Геркуланума изображены в

виде сатиров такие канатоходцы: все они танцуют и в то же время играют на флейте или на кифаре. Один держит в левой руке чашу, а в правой — рог с вином и, отведя эту руку на такое расстояние, чтобы струя попадала прямо в чашу (рог устроен так, что струя бьет из его нижнего, острого конца, откуда вынута пробка), следит, не прекращая танца, за дугой, которую вино описывает. Иногда вместо каната натягивали тонкую-тонкую веревку: издали могло показаться, что человек несется по воздуху. Трудным номером была «прогулка» по наискось натянутому канату. Ее хорошо иллюстрирует бронзовая медаль, выбитая в память празднества, устроенного в честь императора Каракаллы в Кизике, цветущем малоазийском городе, в 212 г. н. э. Кизик славился своими отчаянно смелыми и очень искусными канатоходцами. Тогдашние праздники обычно не обходились без мимов и без цирковых (в нашем понимании этого слова) представлений. Для канатоходцев устроили такое сооружение: соединили под острым углом три мачты и наверху укрепили большую вазу с пальмовыми

ветвями. От верхушки мачт косо шел туго натянутый канат, акробат поднимается, держа в руке какой-то предмет, слишком короткий, чтобы служить палочкой для балансирования; вероятнее, это факел. Подойдя к вазе, он останавливается и вынимает ветку. Теперь надо повернуться и спуститься вниз — это была наиболее трудная часть всего номера. В юридической литературе разобрался вопрос: если проданный раб-канатоходец, спускаясь вниз по канату, упал и сломал себе ногу, должен ли его прежний хозяин, обучивший раба этому номеру, уплатить убыток новому владельцу. Мнения юристов разделились. Хождение по канату. (Медальон из Кизика). С. Bottiger. Kline Schriften, Bd. III, S. 125.

Ни один из наших источников не говорит, на какой высоте натягивался канат, но надо думать, что на значительной. "Если ты увидишь канатоходца, тебе станет страшно", — писал Апулей. "Душу зрителя повергает в смятение опасность; осмелившись идти легким шагом по натянутому канату без всякой ограды, человек уверенно шагает, но, думая о пути к небу, оступается и,

сам едва держась, держит в страхе за себя весь народ", — эти стихи Манилия хорошо передают волнение зрителей. О таком же страхе говорит и Плиний Младший. На одном представлении, данном в присутствии Марка Аврелия, упали мальчишки-канатоходцы, и по приказу императора под канатами с этих пор стали расстилать тюфяки (позднее тюфяков не клали, а натягивали сеть).

Италийские акробаты показывали разные номера: стояли на голове, ходили на руках, кувыркались в воздухе или среди мечей, делали «мост». Были мастера, бегавшие и танцевавшие на ходулях, но искусство это, более безопасное, чем хождение по канату, большого волнения у зрителей не вызывало и особой популярностью, видимо, не пользовалось: о ходулях вспоминают редко. Очень любимы были петавристарии; имя это постепенно превратилось в обозначение всяких акробатов и жонглеров. Происходит оно от слова «петавр», которым первоначально назывался какой-то прибор, которым пользовались акробаты для своих представлений; позднее оно

стало, по-видимому, общим наименованием всяческой акробатической снасти. Петавристариин, пришедшие увеселять Тримальхиона и его гостей, принесли с собой лестницу, обручи и амфору и показали три номера: здоровенный силач поднял лестницу, по которой взбежал мальчик; очутившись на верхней ступеньке, он запел песенку и начал в такт ей танцевать; затем прыгал сквозь горящие обручи и носил в зубах амфору. Когда над обедающими раскрылся потолок, гости решили, что сверху к ним сейчас спустится петавристариин. Марциал говорит об "узких тропинках" петавра, а Ювенал — о "телах, бросаемых петавром". Два акробата показывают свое искусство на петавре: один поднимается вверх, другой опускается вниз. Нечего, конечно, и думать о качелях; эта детская забава не для мастера-акробата. Вспомним колесо и "узкие тропинки" Марциала. Нельзя ли предположить, что петавр иногда представлял собой колесо, надетое на длинную качающуюся доску; в его широкий двойной обод горизонтально вставляли узкие спицы — ступеньки, а устанавливали

это колесо так, как сейчас у нас на детских площадках вращающиеся барабаны: колесо кружилось, по спицам бежало два человека, и как раз в то мгновение, когда акробат оказывался на самом вершине колеса, он спрыгивал на доску и с нее, как с трамплина, прыгал на подвешенную вблизи трапецию.

Иоанн Златоуст в проповеди, обращенной к его неумно жадной до удовольствий пастве, перечисляет некоторые акробатические и жонглерские номера: человек сворачивается клубком и катается по арене в виде живого шара; подбрасывает в воздух большие острые ножи и всякий раз ловит их за рукоятки; неподвижно держит на лбу тяжелую штангу, на вершине которой борются двое мальчиков. О таком же номере вспоминает Марциал: "замечательный Масклион" держит на лбу шест, на вершине которого покачиваются тяжести; ему приходится этим шестом балансировать, удерживая его в равновесии.

Излюбленной игрой римлян была игра в мяч. Мячи были разные: и маленькие, плотно набитые перьями, и большие кожаные, вроде наших фут-

больных, надутые воздухом, Играли в мяч по-разному: целыми партиями по несколько человек в каждой; играли вдвоем и втроем. Была игра, в которой надо было действовать обеими руками: одной хватать брошенный мяч, а другой бросать своей. Сенека, вздохавший о том, что эта забава заставляет людей попусту тратить драгоценное время, был сам неплохим игроком и превосходно знал и терминологию игроков, и все приемы игры в мяч. Итальянские жонглеры превратили ее в такое чудо ловкости, которое потрясало всех зрителей: строгого Квинтилиана не меньше, чем легкомысленного Марциала. Жонглер ловил мяч не руками, а всем телом. "Словно по всему телу ходят у него руки, чтобы ловить множество мячей и вести игру самому с собой, — писал поэт Манилий, современник Августа. — Он словно обучил их, и они слушаются его приказа". Почти то же самое говорит Квинтилиан: "Мячи сами возвращаются им в руки и летят, куда им приказано". Мастер гордился своим искусством: в надгробной надписи императорского отпущенника Элия Секунда сказано, что он был "самым выдающим-

ся игроком в мяч". На одном древнем саркофаге из Мантуи изображен жонглер, орудующий сразу семью мячами. Можно было еще усложнить эту игру: Агафин у Марциала бросает не мячи, а круглый щит; тот "следует за ним и возвращается по воздуху, садится на ногу, на спину, на голову, на ногти пальцев". Зрелище могло привести в восхищение: жонглер путем долгой выучки добивался того, что каждый мускул тела повиноваться ему так же, как повинуетя инструмент музыканту; великолепно слаженная мускульная машина приходила в движение: жонглер кидал мячи в разных направлениях, точно учитывал, куда и через какое число секунд должен он кинуться, чтобы поймать один, другой, третий мяч, и подхватывал их не руками, а, говоря словами Марциала, "ногами, спиной, головой". Стоило посмотреть: казалось, что мячи, действительно, повинуются словам искусника и слушаются его приказаний. Трудность в жонглировании мячами еще увеличивалась, если жонглер играл стеклянными мечами. Первым, кто ввел их в обиход игры, был некий Урс, искусство которого, по утверждению

его надгробной надписи, "народ восхвалял громкими криками".

В одном ряду с акробатами и жонглерами стоят фокусники. Даже такие серьезные люди, как Сенека, с удовольствием смотрели на их «обманы». Оборудование, которым они пользовались для этих «обманов», было очень простое: несколько блюдец или стаканчиков и несколько маленьких круглых камешков. Описание фокуса с этими камешками сделано греческим писателем Алкифроном (III в. н. э.), но техника фокуса вряд ли изменилась с того времени, когда этим же фокусом любовался Сенека. У Алкифрона о нем рассказывает в письме приятелю крестьянин, привезший продавать в город винные ягоды. Покончив с делами, он пошел поразвлечься в театр. Что он там видел, он как следует не может вспомнить, но одно зрелище так его потрясло, что он до сих пор не может опомниться: вышел человек, поставил перед собой трехногий стол, расставил на нем три мисочки и под каждую положил — все это видели — по беленькому круглому камешку; и вдруг все они очутились

под одной мисочкой, потом исчезли и оказались во рту у этого человека; он их выплюнул, затем подозвал из зрителей тех, кто стоял к нему поближе, и стал вынимать эти камешки у одного из носу, у другого из уха, у третьего из головы; только он их взял в руки, как они вновь исчезли. Крестьянин был совершенно потрясен: "Ну и ворюга! Только бы он не заявился ко мне во двор, а то пиши пропало все, что есть во дворе и в доме". К числу таких же ловких фокусов относится и выдыхание огня. Им воспользовался один из предводителей восставших сицилийских рабов (II в. до н. э.), сириец Эвн, чтобы убедить сотоварищей в своей близости к божеству. "Во время его речи, — говорит римский историк Флор, — изо рта у него вылетало пламя". Для этого фокуса он пользовался пустым орехом, который был просверлен с обоих концов и наполнен тлеющим веществом. Положив его в рот и дуя в него то сильнее, то слабее, Эвн и выдыхал то искры, то пламя. (Насколько этот трюк действовал на суеверную толпу, можно видеть из того, что предводитель восстания, вспыхнувшего в Иудее

при императоре Адриане, Бар Кохба выдавал себя за Мессию и в подтверждение этого совершал «чудо»: дышал огнем. Для этого брался шарик из тлеющей пакли, хорошо обмотанный льном).

Были среди фокусников и шпагоглотатели. Вот что рассказывает о таком искуснике один из героев Апулея: "Я собственными глазами видел, как фокусник глотал острием вниз преострейший кавалерийский меч. Вслед за тем он же за несколько грошей охотничье копьё смертоносным концом воткнул себе в кишки. И вот на окованное железом древко перевернутого копья, из горла фокусника торчавшего, на самый конец его вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас, всех присутствовавших, стал извиваться в пляске словно был без костей и без жил".

Жонглеров, акробатов, фокусников — весь этот странствующий народ часто сопровождали дрессированные животные.

Мы говорили уже о дрессированных слонах и львах. Завести этой нищей братии слона или льва было, конечно, не по средствам, но к их услугам были такие животные, как собаки, сви-

ны, даже обезьяны. Вороны хорошо выучивались говорить. Козлов приучали ходить в упряжке и выучивали и более трудному; был козел, ходивший по канату. Обезьян в Италии хорошо знали еще века за два до н. э. Понятливое животное быстро выучивалось разным трюкам: источники наши рассказывают, что обезьяны танцевали, дудели на флейте, перебирали, словно заправские кифаристы, струны кифары, ездили верхом, играли в шахматы. В процессии, совершаемой в честь Изиды, которую описал Апулей, "обезьяна в матерчатом колпаке и платье шафранового цвета, протягивая золотой кубок, изображала пастуха Ганимеда". Античные скоморохи, конечно, постарались обзавестись этим занятным животным, легко поддающимся выучке. На одной помпейской фреске изображена обезьяна в длинной тунике с откинутым капюшоном, которую держит за поводок мальчик и заставляет танцевать под щелканье бича. Трудно с уверенностью сказать, изображена ли здесь детская забава или это сценка уличного представления. Никаких сомнений не вызывает изображение на гли-

няном светильнике. Жонглер (о его профессии свидетельствуют два находящиеся вверху обруча) занят обучением своих товарищей по работе: в руке он держит какой-то предмет (ломоть хлеба, лепешку или плод) и, улыбаясь, что-то говорит обезьяне, протянувшей к нему свою руку. С другой стороны стоит лестница, по которой уверенно взбирается небольшой песик. Он, видимо, уже преуспел в своем образовании и, как настоящий артист, сам наслаждается своим искусством: учитель, всецело занятый обезьяной, предоставил талантливому ученика самому себе. Собаки были неоценимыми помощниками и жонглеров, и акробатов: они взбегали по лестницам, прыгали сквозь обручи, подавали лапу, умирали. Плутарх рассказывает, что он видел в Риме собаку-актера, разыгрывавшую сцену наркотического отравления: только что весело бегавшая, она, съев что-то, отскакивала, делала, пошатываясь, несколько шагов по сцене, падала и вытягивалась, словно мертвая. Затем она начинала постепенно приходиться в себя: поднимала голову, зевала, потягивалась, вставала, делала несколько неуверенных

шагов, а потом бодрой трусцой убежала со сцены. Можно представить себе эффект этого зрелища. «Выступали» и свиньи. Они появлялись перед публикой в намордниках, с колокольчиками на шее и показывали какие-то «чудеса». К сожалению, никаких подробностей об этих «чудесах» не имеется. Жонглер со своими животными. Duremberg. Saglio Diction des antiquites, t. I, fig. 45.

Мы мало знаем о мимах-людях, но еще меньше о тех, кого можно объединить одним названием скоморохов. Известно только, что они бродили по городам и селам, составляли между собой небольшие общества, в которые входили и акробаты, и жонглеры, и фокусники; с детства должны были обучаться своему нелегкому ремеслу и всю жизнь, за редкими исключениями, перебивались со дня на день. Древние писатели говорят об их мастерстве, художники делают его темой своих произведений, но жизнью этих людей, доставлявших столько удовольствия и развлечения и всем возрастам, и всем слоям общества, никто не интересовался. Жонглеры, фокус-

ники, акробаты были народом странствующим, перебивавшимся в поисках заработка от места к месту. Они появлялись на праздниках, на ярмарках, на больших базарах. Иногда они показывают свои номера на сцене городского театра, но часто выступают просто на площади селения или маленького городка, где сами наспех сколачивают легкие подмости. Приход этих искусников был праздником для всей местной детворы, да и взрослые с удовольствием глядели на чудеса ловкости и силы, которые им показывали эти ладно скроенные, веселые люди, забавными шутками приглашавшие их посмотреть зрелище, которое они, конечно, объявляли несравненным и никогда не виданным. Номера следовали один за другим. Силач, Геркулес труппы, приглашал ребят подойти к себе и поднимал вверх сразу семь-восемь уже больших пареньков;²¹ несколько

²¹Плиний, со слов Варрона (источник достоверный), рассказывает об одном силаче, который поднимал своего мула, и о другом, который всходил на лестницу с грузом: 200 фунтов на ногах, 200 в руках и 200 на плечах (римский фунт = 327 г).

эквилибристов "быстро сплетались" в пирамиду, на вершине которой балансировал мальчик, — «пирамида» недолго стояла, а затем все легко спрыгивали на землю и быстро шли на руках кругом по подмосткам; фокусник выпускал изо рта попеременно несколько струй вина и молока; юноша с помощью высокого шеста несколько раз не перепрыгивал, а просто перелетал с одного конца площади на другой; жонглер показывал свое искусство, бросая и ловя разноцветные мячи. Небольшой, серьезного вида пес плавно кружился по подмосткам под веселую мелодию, которую на дудочке наигрывал жонглер-учитель, а большой черный ворон отчетливо выговаривал: "Будьте счастливы, уважаемые граждане". И поглядеть все эти чудеса можно было буквально за грош!

Глава одиннадцатая.
ЦИРКОВОЙ ВОЗНИЦА

Конские бега в Риме устраивали в узенькой (150 м шириной) лощинке между двумя холмами: Палатином и Авентином. Когда-то эти бега были существенной частью осеннего "праздника урожая", но постепенно стали просто увлекательным зрелищем, собиравшим тысячи зрителей.

Лощинка — называлась она Большим цирком (circus по-латыни обозначает всякую фигуру без углов: и круг, и эллипс) — была словно самой природой устроена для бегов. Склоны обоих холмов образовывали естественный амфитеатр, и в отдаленные времена зрители располагались здесь прямо на земле или на деревянных скамьях, сколоченных на время праздника, но уже во время Августа здесь в три яруса подымались постоянные сидения, каменные в нижнем ряду и деревянные в двух верхних. Вокруг Цирка шла одноэтажная аркада со множеством разных лавок и мастерских. Это было излюбленное место, где собирался всякий темный люд: гадалки, предсказатели, составлявшие за несколько грошей гороскопы для своих невзыскательных клиентов, нищие, фокусники со своими дрессирован-

ными животными и просто мелкие воришки. Посередине лощины находилась узкая невысокая платформа (spina — "хребет"), по обеим концам которой стояли по три высокие деревянные тумбы ("меты"). Император Клавдий поставил вместо деревянных бронзовые, позолоченные. Возницы должны были семь раз объехать вокруг этой платформы, и для счета заездов на ней с противоположных концов установлено было два «счетчика», устроенных одинаково: четыре довольно высокие колонки венчал архитрав, в который были вставлены в одном счетчике семь деревянных шаров, а в другом — семь дельфинов, тоже выточенных из дерева. После каждого тура человек, стоявший на лесенке у одного счетчика, вынимал один шар; его товарищ, приставленный к другому счетчику, или вынимал дельфина, или поворачивал его хвостом в противоположную сторону. С одной узкой стороны Цирка устроено было двенадцать стойл, откуда выезжали колесницы; они открывались все разом. Посередине между стойлами находились широкие ворота, через которые вступала торжествен-

ная процессия (помпа).

Конские бега составляли когда-то обязательную часть религиозного празднества, отголоском седой старины и была эта процессия, обязательно предшествовавшая самим бегам. Во главе ее шел магистрат-устроитель игр (если это был первый сановник государства, консул или претор, он ехал в колеснице, запряженной парой лошадей), одетый в пышную одежду триумфатора: в тунике, расшитой золотыми пальмовыми ветвями, в пурпурной тоге, с жезлом слоновой кости, украшенным наверху орлом. Раб держал над его головой золотой венок, его окружали дети, родственники, клиенты — все в белых парадных тогах; затем двигались возницы со своими упряжками, которые сейчас должны были принять участие в бегах, группы танцоров в пурпурных плащах с мечами и короткими копьями — впереди мужчины, за ними юноши, потом дети, — исполнявшие военный танец под звуки "старинных коротеньких дудок и семиструнных отделанных слоновой костью кифар"; дальше весело отплясывали ряженые в козьих и бараньих шкурах, шли храмо-

вые прислужники с зажженными курильницами, и, наконец, люди несли на носилках статуи богов. За ними на двухколесных повозках, отделанных серебром и слоновой костью (эти повозки назывались «тенсы» и стояли на Капитолии в особом помещении), везли атрибуты богов (сохранились монеты с изображениями этих тенс: в одной едет изображение совы — птицы Минервы, в другой павлин — он был посвящен Юноне, — в третьей — атрибут Юпитера, молния). Тенсами правили мальчики, обязательно знатного рода, у которых родители — и отец, и мать — были в живых. Несли и везли в процессии и статуи умерших и обожествленных императоров и членов императорской семьи.

Процессия спускалась с Капитолия на Форум, проходила по Этрусской улице, через Велабр и Коровий рынок, вступала в долину Цирка и обходила ее вокруг. Была она и красочной, и торжественной, но затягивалась надолго — двигалась медленно, не спеша, — и толпа, собравшаяся в цирке, встретив появление помпы приветственными криками и аплодисментами, с нетерпением

ем ждала, когда же начнется главное: бега. По знаку, данному магистратом — устройтелем игр, который с высокого балкона над главными воротами бросал на арену белый платок, ворота стойл сразу раскрывались и на арену выносилось четыре колесницы. Это было обычное число; иногда, впрочем, выезжало и 6, и 8, а то и 12 колесниц. Возница должен был семь раз обогнуть платформу ("спину"), т. е. проехать расстояние около 4 км. Победителем считался тот, кто первым доскакал до черты, проведенной мелом недалеко от балкона, где находился устройтель бегов. Таких «заездов» в начале империи бывало 10–12 (выезжали новые и новые колесницы), но уже к концу I в. н. э. бега обычно продолжались целый день, до солнечного заката.

Бега входили как неперемнная часть почти во все большие римские праздники; полководцы перед походом или во время его давали обет ознаменовать победу празднеством, на котором будут происходить и бега. Их устраивали в день рождения Августа, который праздновали еще в IV в. н. э.; в день рождения царствующего императора;

в праздники, устраиваемые в память каких-либо побед; в день 21 апреля, который считался днем основания Рима. В календаре IV в. н. э. отмечено 175 праздничных дней; из них бегами в цирке занято 64 дня.

Магистраты, ведавшие устройством празднеств, не имели обычно ни беговых лошадей, ни опытных возниц. За теми и другими приходилось обращаться к беговым обществам, которые состояли из денежных людей, обычно принадлежавших к сословию всадников. Называлось оно *factio* (слово это первоначально обозначало союз друзей, а несколько позднее — объединение богатых и знатных людей, созданное для достижения своих выгод); во главе его стоял избранный остальными членами "господин общества" — директор, как мы бы его назвали. Общества содержали большие конюшни — они находились на Марсовом поле, вероятно, в непосредственной близости к Капитолию, — при которых состоял целый штат работников; судя по надписи одного бегового общества, оно содержало около 200 человек; были тут и рабы, и отпу-

ценники, и свободные. Каждому обществу требовался ряд специалистов: кроме опытных возниц и наездников, нужны были люди, умевшие объезжать лошадей; учителя молодежи, желавшей посвятить себя цирку; врачи (случаи тяжелых ранений в цирке были нередки), ветеринары. Общества держали разных ремесленников: портных, сапожников, ювелиров, мастеров, изготовлявших седла, колесничников. Всем хозяйством ведал вилик; счетную часть вел квестор, составлявший ведомость доходов и расходов. Забота о заготовке кормов, их хранении и выдаче лежала на «кондиторах» (от латинского слова *condere* — «прятать», «сохранять») и их помощниках. На одном надгробии изображен такой «кондитор»: он стоит между двумя лошадьми, которых оделяет сеном. Иногда должность эту занимал свободный и состоятельный человек: у Помпея Эвскема были отпущенники и отпущенницы, поставившие ему, «наилучшему справедливейшему патрону», памятник на собственные средства. Общества, может быть, имели свои собственные конные заводы и во всяком случае были связаны с

хозяевами заводов, поставлявшими лошадей для состязаний.

Беговых обществ — «факций» в конце республики было два; чтобы во время состязаний сразу можно было отличить победителя, одно общество стало одевать своих возниц в красные туники, а другое — в белые; так и появились «красные» и «белые». Вероятно, в начале империи к ним присоединились «зеленые» и «голубые», которые отодвинули два первых общества на задний план. В I в. н. э. «зеленые» удерживали за собой первенство; им покровительствовали Каллигула, Нерон и Домициан, неприкрыто теснившие и терроризовавшие остальные общества. А население столицы делилось в своих симпатиях между разными беговыми обществами, причем симпатии эти разгорались до страстной ненависти к другой стороне и такой же преданности любимому обществу.

Плиний Младший, часто любовавшийся собой, изумлялся, почему люди "любили тряпку" (по латыни *rappus*; слово это в надписях иногда употребляется как синоним «факции» — об-

щества): "Если бы в самый разгар состязаний участники их смогли бы обменяться своей цветной одеждой, то зрители обменяли бы и предмет своей горячей приязни и сразу покинули тех возниц и тех лошадей, которых они узнают издали, чьи имена они выкрикивают. . . я чувствую некоторое удовольствие от того, что нечувствителен к их удовольствию".

Плиний, которому любованье собой обычно мешало видеть то, что творилось вокруг, на этот раз правильно отметил, что симпатии толпы связаны были не столько с определенными людьми и лошадьми, сколько с определенной «фракцией» — с «зелеными» или «голубыми». Очень уж много людей в существенно важном зависело от «фракции». Члены общества, обычно дельцы большого стиля, были достаточно богаты и влиятельны, чтобы создать себе сторонников в самых различных слоях общества: деловые связи, денежная зависимость, родственные и дружеские отношения, клиентская подчиненность — все это работало на общество, собирало ему тысячи приверженцев. У каждой «фракции» слу-

жило и работало множество всякого люда — и бедного, и среднедостаточного: они, естественно, поддерживали тех, чей хлеб ели. А у них тоже были друзья, приятели, родные. Цирковая «фракция» представляла собой своеобразный магнит, к которому со всех сторон стягивались люди. Не следует забывать, что в цирке постоянно заключались пари, часто на большие ставки, и те, кто ставил на лошадей «зеленых», естественно, становились приверженцами этого общества.

Главным источником нашим, откуда мы черпаем сведения о жизни цирка, являются надписи; об организации беговых обществ осведомляют они нас скудно, но с возницами, т. е. с теми людьми, которые в дни беговых состязаний были главными действующими лицами, более или менее знакомят, как знакомят и с их профессиональным языком. Добавочные сведения дают памятники изобразительные и литературные.

Профессия циркового возницы была опасной. Почти на всех изображениях бегов, дошедших до нас, есть опрокинувшаяся повозка и валяющийся на земле, разбившийся возница. Угроза

убиться или тяжело искалечиться висела над ним все время, пока он мчался по арене, но особенно страшным был момент, когда возница огибал мету: стремясь выиграть время и сократить пространство, он держался к ней как можно ближе, и тут стоило допустить малейшую ошибку в учете расстояния, стоило чуть больше дернуться влево левой пристяжной (почему из всей четверни она и считалась самой главной), и колесница на всем скаку налетала на тумбу и опрокидывалась, и хорошо, если удавалось выйти из этой переделки только калекой. Возница как-то старался предохранить себя: на голову надевал круглую кожаную шапку с клапанами, напоминающую шлем танкистов; тунику плотно до самых подмышек обматывал ремнями, чтобы она не развевалась и не могла за что-либо зацепиться (поэтому и хвосты лошадям подвязывали очень коротко); за ремни затыкал короткий острый нож без ножен, чтобы в случае падения перерезать вожжи, которые он закидывал себе за спину. Ременные обмотки покрывали ноги до колен; иногда возница надевал еще гетры, которые почти целиком за-

крывали ему бедра. Всего этого было, конечно, слишком мало, и возницы погибали обычно молодыми. Аврелий Полиник умер 30 лет, Скорп — 27, Крецент — 22, Аврелий Татиан — 21 года, Цецилий Пудент — 18 лет. Флор погиб "еще в отрочестве". Дожить до 42 лет, как дожил Диокл, — это случай редкий.

Римляне были страстными любителями бегов. "Весь Рим сегодня занят Цирком. Стоит оглушительный крик: понимаю, что победили «зеленые». Если бы они проиграли, ты увидел бы, что город так потрясен и опечален, словно после поражения при Каннах", — писал Ювенал. Увлечение это захватывало одинаково все круги: сенаторов и ремесленников, рабов и свободных. Тацит жаловался, что молодежь так занята гладиаторами и возницами, что "где же найти хоть чуточку места для настоящего знания?". Знаменитых возниц, многократно одерживавших победы, знал весь Рим; они ходили по городу в сопровождении толпы друзей и поклонников; их статуи стояли по всему Риму вперемежку со статуями богов. Марциал начинал раздражаться, видя,

что "всюду сверкает золотой нос Скорпа", но он же посвятил знаменитому вознице стихи, в которых звучит искренняя печаль: "Сломай, огорченная Победа, пальмовые ветви. . . О, злая судьба! Скорп, ты погиб еще совсем молодым. . . стремительно огибал ты всегда мету — потому и для жизни твоей оказалась она столь близка". И он вкладывает в уста самого Скорпа краткую эпитафию: "Я — Скорп, слава крикливого Цирка. Недолго рукоплескал ты мне и любовался мною, Рим. Злая Лахезис похитила меня на 27-м году; считая мои победы, она решила, что я старик".

Имена знаменитых возниц у всех на устах; о них беседуют за дружеским обедом, об их победах сообщается в римской «газете» — в "Ежедневных известиях". Марциал рассчитывал, что его начнут читать только тогда, когда устанут от разговоров о Скорпе и об Инцитате (знаменитый жеребец-победитель). Все, что связано с Цирком и бегами, вызывает живейший интерес. Марциал сумрачно заметил, что он, знаменитый поэт, которого читают и Рим, и провинции, пользуется не большей известностью, чем жеребец Андремон.

Юноши, принадлежащие к самым аристократическим семьям Рима, не выходят из конюшен, берут у возниц уроки езды, усваивают их жаргон и манеры. Отец Нерона, Домиций Агенобарб, славился в юности своим искусством править колесницей. Нерон мальчишкой только и разговаривал, что о Цирке и, став императором, со страстью предавался, по выражению Тацита, "позорному занятию" возницы. Ювенал с негодованием изображал консула, который мчится по большой дороге в легкой цирковой колеснице, сам обвязывает тормозной цепью колеса, приветствует встречных взмахом бича и задает лошадям сено и ячмень.

Цирковые возницы пользовались не только славой; наиболее известные из них наживали крупные средства. Ювенал говорит, что имущество ста адвокатов (а они зарабатывали неплохо) не превышает состояния одного возницы; Марциал, сравнивая свою судьбу бедного клиента с судьбой возницы, плакался, что он за целый день утомительной клиентской службы получит сотню медяков, а Скорп-победитель после одного часа

унесет пятнадцать "тяжелых мешков сверкающего золота". Кресцент, выступавший в Цирке в 115–124 гг. н. э., за эти 10 лет приобрел около миллиона. Диокл, блиставший в Цирке в первую половину II в. н. э., собрал чуть ли не 36 млн. Он, так же как и Скорп, неоднократно упомянутый Марциалом, принадлежал к возницам «тысячникам», т. е. таким, кто одержал тысячи побед (у Диокла их было 1462, а у Скорпа — 2048).

Поклонники Диокла поставили ему, когда он ушел из Цирка, почетную надпись, в которой была изложена вся его "цирковая биография". Этот интереснейший документ знакомит нас, между прочим, с разными приемами циркового состязания. Возница мог сразу занять первое место и удерживать его до конца бегов; первоначально мог оказаться на втором месте, но затем вырваться вперед и стать первым; иногда, сберегая силы своих лошадей, он нарочно пропускал своих соперников вперед, а затем, увидев, что их кони начинают сдавать, пускал своих во всю конскую мощь и приходил первым. Случалось и так, что всякая надежда на победу была, каза-

лось, потеряна, но он все-таки умел после трудной и жестокой борьбы одержать верх. Большой честью считалось победить в первом же заезде после помпы, когда лошади еще не успели передохнуть и успокоиться после шумной процессии, а также на лошадях, впервые выезжавших на арену. Только очень опытный возница мог пойти на то, чтобы обменяться лошадьми со своим противником. Диокл одержал 134 победы "с чужим главным конем" (т. е. с левым пристяжным).

Возницы обычно были рабами; люди свободные среди них встречаются редко и принадлежат к низам. Законодательство причисляет их к "людям бесчестным", что ни в коей степени не мешало, как мы видели, их популярности. Профессия эта часто переходила от отца к сыну; иногда за обучение юнца брался опытный возница, и ученик, уже став сам мастером своего дела, с благодарностью вспоминал наставника. Учение начиналось с ранних лет: Кресцент, одержавший много побед, выехал на арену в тринадцатилетнем возрасте; некий Флор уже «ребенком» правил парой лошадей (первая ступень обучения;

только выучившись управлять с парой, ученик начинал упражняться с четверней). Мальчик рос среди конюхов и возниц, ловил их рассуждения и рассказы, знакомился с мыслями и чаяниями цирковой среды в те годы, когда "впечатления бытия" неизгладимо и на всю жизнь врезаются в душу. Он живет интересами конюшни и Цирка; здесь для него сосредоточено все, для чего стоит жить. Нет ничего завиднее, чем победа в цирке; нет славы ослепительнее, чем слава возницы-победителя. Конюшня для него и родной дом, и школа: тут он не только изучает все тонкости и хитрости своего нелегкого ремесла — ему стараются придать ту закалку, которая обеспечит ему победу. Он должен владеть собой, не терять головы, беречь силы своих лошадей и не упускать ни одной возможности помешать противникам. Если ему, например, удалось вырваться вперед, пусть он направит свою колесницу не по прямой линии, а наискось: это преградит дорогу всем остальным. Идеалы юноши ограничены цирковой ареной: здесь ждет его все, о чем он мечтает: победная пальма, неистовые рукоплескания

многотысячной толпы, богатство, громкое имя. Он ведет счет своим победам и наградам, увековечивает в надписях виды своих упряжек (пара, тройка, четверня), число заездов, имена лошадей, с которыми победил. Голова у него кружится не только от успеха и славы; он пьянеет от риска и опасности. Каждый раз, выезжая на арену, он едет на встречу со смертью, и каждая его победа это победа над смертью: он чувствует себя выше законов, которые лишь для простых смертных обязательны. Не было дерзости, которую возницы не считали бы себе позволенной. "По укorenившемся попустительству", пишет Светоний, "они, бродя по городу, забавлялись тем, что обманывали и обкрадывали людей". Нравственные понятия возницы очень невысоки: чувство товарищества ему незнакомо; товарищ по профессии для него только соперник, у которого надо вырвать победу любыми средствами. Одно из наиболее действительных это колдовство. Найдено было под Римом на Аппиевой дороге несколько десятков свинцовых табличек с заклинаниями и молитвой к подземным божествам погубить

противника и его лошадей. Потрясает сила ненависти, которой они дышат: "Свяжите, обвяжите, помешайте, поразите, опрокиньте, погубите, убейте, изломайте возницу Евхерия и его лошадей завтра в римском Цирке. Да не выедет хорошо из ворот, да не состязается сильно, да не обгонит, не прижмет, не победит, не обогнет счастливо мету, не получит награды". Другая табличка (из Карфагена) составлена в таких выражениях: "Остановите их лошадей, свяжите, заберите от них всю силу; пусть они не смогут переступить ворот, сделать шаг по арене; а что до возниц, обессильте их руки, пусть не смогут увидеть вожжей, не смогут держать их. Сбросьте их с колесницы, ударьте оземь; пусть растопчут их копытами собственные кони. Не медлите, не медлите; сейчас, сейчас, сейчас!".

В этой неистовой и злой душе живет одно глубокое и доброе чувство: любовь к лошадям, на которых он выезжает. Только на них может он положиться, только им до конца доверяет. Люди? ему, победителю, бурно рукоплещут, осыпают его подарками и поздравлениями, но кто из

этих "поклонников успеха" вспомнит о нем, разбитом, изувеченном и беспомощном? Товарищи возницы ради своей победы погубят его, хладнокровно и радостно. Он ведь поступит с ними при случае совершенно так же. Единственные друзья, подлинные товарищи и помощники — это кони. Они отдадут ему на службу все свои силы, свое умение и сообразительность, они не выдадут, не подведут. И благодарный человек делится с ними тем, чем сам дорожит больше всего, — своей славой. Имена лошадей, с которыми Кресцент одержал свою первую победу, упомянуты в почетной надписи, ему поставленной. Какой-то возница (имя не сохранилось) составил список левых пристяжных, с которыми он выезжал на арену и с которыми одержал победу, с упоминанием их родины. В надписи, прославляющей Диокла, названы и его лошади.

Глава двенадцатая.
ГОСТИНЩИК

В древней Италии путешествовали много: в поисках заработка, по торговым делам или служебным надобностям, с образовательными целями или ради отдыха и удовольствия. Вдоль дорог, особенно больших, связывавших ряд городов, и в самих городах, больших и маленьких, путешественник всегда мог найти, где ему приютиться и заночевать. Люди богатые строили иногда для себя по дорогам небольшие заезжие дворы, но большинство, пользуясь множеством знакомств и связей, останавливалось у своих друзей и знакомых; Цицерон в пути заезжал всегда к кому-либо из своих многочисленных приятелей и сам часто принимал приезжих; один из участников Варронова диалога о сельском хозяйстве по дороге из Реате (в Сабинии, нынешнее Риети) в Рим на ночь "раскидывал свой лагерь" в имении тетки Варрона, и Колумелла даже советовал строиться в стороне от большой дороги, потому что "частые приемы заезжающих разоряют хозяина". Случалось, однако, что по пути никого из знакомых не оказывалось; Меценату, посланному Октавианом в Брундизий к Антонию,

чтобы уладить с ним возникшие недоразумения, приходилось не раз останавливаться в гостиницах.

Гостиницы бывали разные. Были очень хорошие: Эпиктет сравнивал человека, который, увлекшись риторикой, не торопится перейти к занятиям философией, с юношей, который, возвращаясь в отчий дом, заехал в прекрасную гостиницу и не хочет оттуда выбираться. По большей части, однако, были они плоховаты. Те, где останавливался Меценат со своими спутниками, судя по отзывам Горация (он был в числе сопровождавших Мецената), оставляли желать много лучшего: в одной они чуть не задохлись от дыма, в другой едва не сгорели. Основная клиентела, на которую рассчитывал гостинщик, были люди бедные и нетребовательные, и поэтому он не особенно и заботился о благоустройстве своего заведения. Некоторое представление об италийских гостиницах дают развалины их, найденные в самих Помпеях и в окрестностях города. В 2 км к северу от Помпей по дороге в Нолу находился постоянный двор, устроенный с пониманием вкусов

и требований неприхотливого прохожего и проезжего люда. Длинные скамьи у входа приглашали присесть и отдохнуть; усталый осел тянулся к водопое, а его хозяин мог, не заходя в помещение, пропустить кружку вина с водой — смесь, которую тут же подогревали на очаге под навесом, где можно было укрыться и от дождя, и от солнца. Если прохожий хотел отдохнуть подольше, он мог зайти в дом, помыться, поесть и захватить с собой хлеба в дорогу: у хозяина была сложена большая хлебная печь, по соседству с которой находилась мельница. Для приема путешественников предназначалась большая комната. Если бы гость пожелал провести часок-другой на свежем воздухе, то к его услугам был цветник; тут можно было выпить и одному, и в компании. К дому был пристроен узкий и длинный хлев, в углу которого находился большой водопой. Сюда ставили ослов и мулов; повозки оставляли во дворе перед хлевом.

В самих Помпеях недалеко от городских ворот находился постоянный двор некоего Гермета. Здесь тоже был хлев, куда заводили животных;

перед ним стояло длинное корыто для водопооя; телеги и повозки оставляли тоже прямо во дворе под открытым небом. По одну сторону двора шли крохотные «номера» для приезжающих; находились они, вероятно, и во втором этаже, надстроенном над передней частью дома. Прямо на улицу открывалось два помещения, где шла торговля вином и съестным.

Гостиница «Слон», которую, как значится в надписи, "восстановил Ситтий" и в которой была, по сообщению той же надписи, "столовая с тремя кроватями (древние ели лежа, — М.С.) и все удобства", предназначалась для тех, кто путешествовал пешком — места для животных и повозок у Ситтия не было, — и для местных жителей, которым дома негде было устроиться, чтобы попить с приятелями. Она отчетливо делится на две половины; посетитель, войдя с улицы в узенький коридорчик, оказывался перед прилавком, где ему могли предложить и вина, и горячей пищи. Это была харчевня при гостинице. Если посетитель не хотел есть тут же, зайдя за прилавок, он мог пройти в смежную комна-

ту — это, вероятно, и была "столовая с тремя кроватями". По другую сторону коридорчика находились комнаты, где можно было остановиться и переночевать.

От оборудования этих комнат ничего, конечно, не осталось, и судить о нем приходится только по литературным источникам. В гостинице, где заночевал один из героев Апулея, "кроватишка была коротенькая, хромая на одну ногу и гнилая"; тюфяки, по словам Плиния, набивались камышом и соломой, и в них было раздолье блохам и клопам. В стихотворной дуэли с поэтом Флором император Адриан в шутку описывает его жизнь: Не хочу я Флором быть, Век скитаться по харчевням. . . Круглым кровь давать клопам.

И еда была скромной: на постоялом дворе под Помпеями заезжий человек мог получить хлеб, яйца и, возможно, кусок баранины. Трактирщица-сириянка из стихотворения, приписываемого Вергилию, предлагает гостю свежий сыр, сливы, каштаны, яблоки, виноград, шелковицу, огурцы, хороший пшеничный хлеб и вино — еда сплошь вегетарианская. Бывали и

мясные блюда: колбаса, печенка, жаркое. И брали за все это недорого. Одна надпись из Эзернии (теперь Изерния в Абруццах) передает красочный диалог между хозяйкой и путешественником: "Хозяйка! Сосчитаемся!". — "У тебя был секстарий вина и хлеба на один асс". — «Так». — "Закуски на два". — «Так». — "Сена мулу на два асса". — "Этот мул доведет меня до сумы!". Как видим, еда и ночлег обошлись путнику в одну се-стерцию с ассом (примерно на наши деньги около 15 коп.).

Каждая гостиница и каждый постоялый двор держали, разумеется, и вино, и съестные припасы для проезжих. К услугам людей, которые не нуждались в ночлеге, а хотели только поесть и выпить, было множество кабачков и харчевен. В таком сравнительно небольшом городе, как Помпеи, было 20 гостиниц и 118 харчевен. Их можно сразу узнать по их своеобразному устройству. Прямо на улицу обращен прилавок, сложенный из камня и облицованный дешевым сортом мрамора; в прилавок вделаны большие глиняные горшки с разной едой: с маслинами, оливковым

маслом, бобовой похлебкой, сушеными фруктами. Тут же под прилавком — маленький переносной очаг, на котором можно подогреть остывшую еду. С одной стороны прилавка, примыкая к стене, идут уступами две-три каменных полки для кушанья и напитков. Над входной дверью — вывеска; у Ситтия это был нарисованный красной краской слон, которого вел пигмей; иногда прямо на наружной стене рисовали амфоры с вином и разную винную посуду. На одной вывеске помпейская харчевница велела написать: "Эдоне²² говорит: Выпивка стоит здесь асс. За два асса ты лучшего выпьешь, А за четыре уже будешь фалернское пить". (Перевод Ф. А. Петровского).

Остийский трактирщик на своей вывеске пишет: "Гость, говорит Фортунат, ты хочешь пить; бери из кратера", а харчевник из Лугудунума (нынешний Лион) объявляет: "Меркурий обещает здесь прибыль, а Аполлон здоровье".

Хозяева гостиниц и харчевен — и мужчины,

²²Эдоне — имя хозяйки; по-гречески значит "наслаждение".

и женщины — пользовались недоброй славой. В большинстве случаев — это пришельцы: греки, выходцы с Востока (евреи, сирийцы); на ступенях общественной лестницы стоят они низко: чаще всего — это отпущенники и люди подозрительные. Законодательством запрещено зачислять в лучшие войсковые части человека, который содержал гостиницу или харчевню; ребенка, прижитого от харчевницы или ее дочери, нельзя внести в число законных детей: и та и другая относятся к женщинам "низким и презренным". Объясняется это тем, что гостиницы и харчевни часто служили притонами разврата с попустительством хозяев, а то и при их участии. Харчевница в упомянутом стихотворении Вергилия не только предлагает посетителю еду и выпивку, но и зовет в свои объятия. Хозяйка гостиницы, где остановился несчастный Сократ (один из героев Апулеева "Золотого осла"), вела себя с гостем точно так же. Содержателей гостиниц и кабаков помещают в одну категорию с ворами, сводниками, азартными игроками. И в их заведениях разыгрываются ужасающие сцены.

У Цицерона приведены две истории. Два путника, встретившись в дороге и разговорившись, решили продолжать путь вместе, а шли они на базар, и один был при деньгах. Они завернули в харчевню, пообедали и решили заночевать вместе в одной комнате. Хозяин, заметив, у кого есть деньги, глухой ночью, когда оба крепко спали, убил того, кто имел при себе деньги, мечом спутника, спрятал окровавленный меч в ножны и свалил убийство на невинного. Все это открылось уже потом, когда хозяина уличили в другом преступлении. И вторая история такая же страшная. Ее любили приводить философы-стоики в доказательство того, что есть вещие сны. Два приятеля остановились в пути, один у знакомых, другой в гостинице. Первому приснилось, что друг зовет его на помощь, потому что хозяин собирается его убить. Он в испуге вскочил, но потом, решив, что ему привиделся страшный сон, лег спать. Во сне ему опять явился его друг и рассказал, что хозяин гостиницы убил его, положил труп в телегу и забросал навозом. Пусть же товарищ, если не помог ему живому, не оставит его смерть неот-

мщенной: пусть с раннего утра станет у городских ворот и остановит телегу с навозом. Приказ этот был выполнен, и преступление раскрыто. Гален, со слов людей, заслуживающих, по его убеждению, полного доверия, рассказал, как однажды в харчевне подали великолепное кушанье, которое, как оказалось потом, было приготовлено из человеческого мяса. Хозяев позднее поймали на месте преступления, когда они уже все приготовили, чтобы убить и освежевать следующую жертву. Содержательниц харчевен и гостиниц считали страшными колдуньями: у Апулея приведен целый перечень чудес, которые может сделать такая колдунья (между прочим, соседа-харчевника она обратила в лягушку, а судью, высказавшегося против нее, — в барана). Августин пишет, что в некоторых местах Италии трактирщицы умеют превращать людей во вьючных животных и заставляют их возить поклажу.

Все это, конечно, относится к области волшебных сказок, а рассказы Цицерона, несомненно греческого происхождения, принадлежат к ходовым страшным рассказам, но то обстоятель-

ство, что в роли злодеев и преступных чародеек выступают именно хозяева и хозяйки гостиниц и харчевен и что и рассказчик, и слушатели охотно видят их в этой роли — это показательно. Убийства случались здесь, вероятно, довольно редко, но что тут собирался разный темный люд и творились часто дела подозрительные — это несомненно; Ювенал в качестве завсегдаев харчевен называет разбойников, воров и беглых рабов. Уличные женщины постоянно здесь терлись; люди иногда напивались до бесчувствия, часто случались драки. На одной помпейской фреске, изображающей сценку из жизни харчевни, врукопашную схватилось двое; хозяин выталкивает их, приговаривая: "Пошли вон! Ссорьтесь на улице". Драчуны заспорили за игральной доской; игра в кости строго и неоднократно запрещалась законом, но заядлые игроки считали себя хорошо укрытыми в стенах харчевни. На другой фреске из той же серии два человека горячо спорят о количестве выпавших очков: "Убирайся!". — "Выпало не два, а три!". — Недалеко и до драки. Что хозяева этих заведений не отличались без-

укоризненной честностью, это несомненно. "По справедливости все проезжающие ненавидят гостинщиков", — уверяет один из героев "Золотого осла". Гораций честит их «обманщиками» и "злыми негодьями"; какой-то посетитель написал на стене одного помпейского трактирчика: Кабы попался ты нам на такие же плутни, трактирщик: Воду даешь ты, а сам чистое тянешь вино. (Перевод Ф. А. Петровского).

Тримальхион, развивая перед гостями свою астрологическую мудрость, сообщает, что харчевники рождаются под знаком Водолея. Трактирщики разбавляли вино водой больше, чем требовал гость (вино, как правило, всегда разбавлялось водой), и этот обман считался настолько обычным в практике любого кабатчика, что в поздней латыни глагол сауронаре (от сауро, соро — «трактирщик», "харчевник", "хозяин гостиницы") получил значение «фальсифицировать», "подделывать". Вот такое мелкое плутовство: сильно разбавить вино, обсчитать, взять больше, чем следует, может быть, спрятать краденое — и создало этим людям прочную репута-

цию мошенников. Но надобно признать, что бедный и простой люд древней Италии этим «мошенникам» был многим обязан. Прежде всего — горячей пищей.

Мы говорили уже, что в многоэтажных римских инсулах кухонь с очагом не было, как не было их и в маленьких помпейских квартирках и в ремесленных мастерских. Отведать горячей похлебки и поесть свежих, еще не остывших лепешек бедному люду только и можно было, что в харчевне. Этим и объясняется такое количество харчевен в Помпеях, причем находятся они главным образом на тех улицах, где была сосредоточена ремесленная и торговая жизнь и где жила преимущественно беднота: на улице Изобилия и на Стабиевой, поближе к Стабиевым воротам. В аристократических кварталах города (ул. Меркурия, ул. Фавна) их почти нет. Уже одно это определяет социальное лицо посетителей харчевен. Бедняк не только мог здесь поесть; его ждали и нехитрые развлечения: он мог послушать музыку (надо думать, скверную), поглядеть на танцы; иногда он и сам пускался в пляс, как вилик Гора-

ция, вздыхавший в сабинской глуши о прелестях жизни в Риме. Люди, которым негде было преклонить голову, могли здесь переночевать. Харчевня была местом приятельских встреч, веселой выпивки, дружеской, ничем не стесняемой беседы, причем беседа эта могла касаться не только недавних гладиаторских игр или приглянувшейся красотки, но и вопросов гораздо более серьезных. В Помпеях недалеко от городских ворот находился постоянный двор с харчевней и недалеко от него оказались надписи, в которых погонщики мулов выставляли в эдилы Пансу, а в дуумвиры Юлия Полибия. Кандидатура обоих обсуждалась, видимо, всем скопом погонщиков, а местом обсуждений был, конечно, этот постоянный двор, служивший стоянкой людям, занимавшимся извозом. Харчевни могли при случае превращаться, говоря современным языком, в политические клубы. И этим, по всей вероятности, объясняются те императорские эдикты, которые ограничивали торговлю этих заведений.

Запреты эти начались с императора Тиберия, отдавшего эдилам распоряжение, чтобы в хар-

чевнях не продавали даже "кондитерских изделий", т. е. лепешек и блинчиков. Клавдий, по сообщению Диона Кассия, закрыл кабачки, где собирались и выпивали люди, и запретил харчевникам торговать мясными блюдами и продавать горячую воду (она была необходима для изготовления любимейшего древнего грога — смеси с вином). Нерон запретил торговать всякими кушаньями, кроме овощных (включая сюда всякие виды бобовых). По мнению Светония, и Тиберий, и Нерон стремились обуздать роскошь; смешно, однако, считать приютом роскоши харчевни, где питалось за гроши простонародье. Причина была, конечно, в другом: императоры боялись, что эти заведения могут стать центрами противоправительственной агитации. В цирке, в амфитеатре, в термах собиралась масса самого разнообразного народа; в кабачках и харчевнях сходилась небольшая компания, которая могла быстро превратиться в кружок друзей-единомышленников. Императорская власть боялась заговоров и готова была подозревать их всюду — страшны оказались и кабачки.

Трудно предполагать, чтобы все эти запретительные меры приводили к какому-нибудь результату, кроме недовольства и озлобления. Самая повторность распоряжений заставляет думать, что их всячески обходили, сводя на нет. Сенека пишет, что в банях на все лады выкликают свой товар: лепешки, печенье и колбасы — "прислужники из харчевен". Если этой едой торговали в разнос, то, конечно, тайком и тишком можно было поесть ее и в харчевне, заслонясь миской с бобами. Императорские распоряжения оказались мертвой буквой: требования жизни были сильнее всяких указов и запретов. Для бедного трудового люда, невзыскательного ни в еде, ни в удовольствиях, харчевня была местом, где он ел, отдыхал, развлекался, шутил, разговаривал. Пусть хозяин и был плутом — его заведение все-таки было приятнейшим местом для утомленного путника, для усталого и проголодавшегося работника, для задерганного, улучившего свободную минутку раба. Современники поносили харчевников; издали виднее — сейчас можно увидеть, какую добрую службу служили они своим

посетителям, всей трудовой и бедной Италии.

PDF Generation

Generated on 7 февраля 2012 г. by **fb2pdf** version 3.14

<http://www.fb2pdf.com/>